

ЕВГЕНИЙ ВОЙСКУНСКИЙ

ДЕВИЧЬИ
СНЫ



Самое время!

Евгений Войскунский
Девичьи сны (сборник)

«WebKniga»

2013

Войскунский Е. Л.

Девичьи сны (сборник) / Е. Л. Войскунский — «WebKniga», 2013 — (Самое время!)

В этом томе представлены обе стороны творчества прозаика Евгения Войскунского – реалиста и фантаста. Действие романа «Девичьи сны» происходит в канун распада Советского Союза. Карабахское противостояние откликнулось трагическими событиями в Баку, страшной эскалацией межнациональной вражды, изгнанием из родных домов тысяч ни в чем неповинных людей. Вихрь событий беспощадно ломает судьбы русско-немецко-еврейской семьи ветерана Великой Отечественной и азербайджанско-армянской семьи их школьных друзей. Две фантастические повести – «Химера» и «Девиант» – примыкают к роману своей нравственной проблематикой, драматизмом, столь свойственным ушедшему XX веку. Могут ли осуществиться попытки героев этих повестей осчастливить человечество? Или все трагические противоречия эпохи перекочат в будущее?

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Девичьи сны | 6 |
| Глава первая | 6 |
| Глава вторая | 10 |
| Глава третья | 15 |
| Глава четвертая | 17 |
| Глава пятая | 22 |
| Глава шестая | 29 |
| Глава седьмая | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 38 |

Евгений Львович Войскунский

Девичьи сны (сборник)

© Евгений Войскунский, 2013

© «Время», 2013

Девичьи сны

– Ну хорошо, мой дорогой Панглос, – сказал ему Кандид, – когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы гребли на галерах, неужели вы продолжали думать, что все в мире идет к лучшему?

– Я всегда оставался при моем прежнем убеждении, – отвечал Панглос...

Вольтер

Когда судьба по следу шла за нами,

Как сумасшедший с бритвою в руке.

Арсений Тарковский

Глава первая Баку. Ноябрь 1989 года

Споры, споры.

Бесконечные какие-то споры с Сергеем. Он стал такой раздражительный. Что ему ни скажи – сразу «нет».

Иногда думаю: неужели это тот самый «капитан Сережа», который в Балтийске, в Доме офицеров, восторженно уставился на меня, когда мы с Валькой Сидельниковой пришли однажды на танцы? Господи, как давно это было! В сорок восьмом... или сорок девятом? Да, да, в сорок девятом. Ведь в пятидесятом уже родилась Нина...

Вот я и говорю:

– Сережа, я уйду. В двенадцать не забудь сварить себе геркулес.

Он скидывается:

– Куда?

Уже недели две, как он что-то пишет, пишет. Может, готовит новую лекцию. Не знаю.

Круто развернулся ко мне в вертящемся кресле, в руке любимый «паркер», мой подарок к семидесятилетию. Смотрит поверх очков, на лбу собрал тысячу морщин, от бровей почти до макушки. Господи, думаю с внезапной болью в душе, Сережа, где твои каштановые кудри? улыбка открытая где?..

– Ну ты же знаешь. Нина просила посидеть с Олежкой.

– Неужели ей трудно привезти Олежку к нам? – с ходу, с пол-оборота раздражается Сергей. – Что за чертовщина! Почему ты должна тащиться через весь город...

– Сережа, не кипятись. В городе спокойно сейчас.

– Спокойно... Паспорт возьми, по крайней мере.

Я не похожа на армянку. Я русская (по паспорту). И глаза не черные, а серые, правда, выцветшие изрядно, но, во всяком случае, светлые не по-восточному. И нос прямой. Нисколько не похожа на армянку. Но такая дикость у нас пошла, в троллейбус входят черноусые юнцы, требуют от пассажиров показать паспорта, и если там значится, что ты армянин или армянка, то могут оскорбить, вытолкнуть из троллейбуса, а то и избить. Были такие случаи.

– Взяла, взяла паспорт.

Сергей провожает меня до лифта, наставления дает: как приедешь к Нине, сразу позвони... не задерживайся там, поскорее домой... нитроглицерин не забыла?

– Не забыла.

Нажимаю на кнопку. Половинки лифтовой двери со скрежетом съезжаются, срезают фигуру Сергея. Такая была прежде прямая фигура, выправка бравая. А теперь – ссутулился Сережа. Плечи подняты и стали как будто уже. И в глазах за очками – тревога.

Сквозь мутноватое троллейбусное окно смотрю на родной город. Улица Бакиханова по-осеннему печальна. Сухие желтые листья устилают тротуары, никто их не метет. Город и в прежние годы не отличался чистотой. Когда задувал норд, на улицах крутились пыльные вихри, вздымающие обрывки газет, окурки, шелуху семечек. Все же иногда шваркали по тротуарам дворничские метлы. А теперь их совсем не видеть.

Поворот на улицу Самеда Вургуня. Ах, дуга соскочила с подвески. Молодой водитель в огромной кепке вылезает, неторопливо идет к «корме» троллейбуса, напевает что-то тягучее.

Смотрю на солидное, хоть и давно не крашенное, здание проектного института. Тут я раньше работала. Тут еще недавно, до выхода на пенсию, работал Котик Аваков. Разумеется, он давно уже не Котик, а Константин Ашотович.

Когда-то он был у нас в классе первым учеником да к тому же заядлым волейболистом и шахматистом. А еще? Общим любимцем, конечно. А еще? Ну да, отвечаю собственной беспокойной памяти: ну да, он однажды признался мне в любви. Хорошо помню, как побледнело и вытянулось смуглое лицо Котика, когда он сделал признание... и как мелькнуло в пылких карих глазах потерянное выражение, когда я ответила отказом... Ну, не то чтобы отказом. Скорее просьбой: прошу тебя, Котик, давай останемся друзьями... Это было летом 44-го, мы окончили школу, Котик уходил на войну. Правда, по-настоящему воевать ему не довелось: их команду отправили в Иран. Наши войска стояли тогда в Северном Иране. И мы долго после этого не виделись. В 51-м, когда мы с Сережей и годовалой Ниночкой приехали в Баку в отпуск, Котик уже отслужил и был женат на Эльмире. Он признавал девочек только из нашего класса. Я порадовалась за них. Эльмира была влюблена в Котика чуть ли не с детского сада. Когда Котик взвивался над сеткой и с гиканьем топил мяч, Эльмире не хватало воздуха. Она остро переживала бурную общительность Котика, не таясь, страдала от ревности и однажды пыталась отравиться. Такая была любовь.

Да, я порадовалась за них. Но почему-то захотелось плакать. Странно... Я не сентиментальна и, полагаю, не завистлива. Отчего же вдруг пошли слезы? Мы, женщины, не очень-то в ладах с логикой. Вот, скажем, все у тебя есть, дом, семья – а все равно накапывает что-то такое – смутная мысль об упущенном, о недостижимом – и плачешь, и злишься сама на себя...

Так-то, дорогой Константин Ашотович. Бывший волейболист, а ныне, как сказано у классиков, трудящийся Востока.

Дуга водворена на место, троллейбус катит вниз по улице Самеда Вургуня. Справа возникает зеленый взрыв – это колхозный рынок, там вечная толчея, гул голосов, крики зазывал, – что бы ни происходило вокруг, а бакинский базар есть бакинский базар, он-то неизменен, незыблем, как Девичья башня, – вот только цены на базаре растут и растут – черт бы побрал эти цены.

Поворот, еще поворот, выезжаем на улицу Кирова, бывшую Большую Морскую. На остановке у кинотеатра «Низами» я схожу.

Да нет, напрасно беспокоится Сергей. В городе теперь спокойно.

Иду по родной своей улице, Пролетарской. Давно уже переименовали ее в улицу Видади, однако я привыкла называть по-старому. До революции она и вовсе называлась Церковной, но об этом теперь никто не помнит. Узкая и невзрачная, застроенная старыми серыми домами в три этажа, течет Пролетарская сквозь время – сквозь судьбы – сквозь душу мою... извините невольный высокий слог.

Всю жизнь я жила, можно сказать, сегодняшним днем. Жила как живется. Но с некоторых пор стала задумываться. С того дня, когда у нас с Сергеем произошел разрыв... после

злосчастной пощечины... да, вот с того дня все чаще стала задумываться. Вспоминала то, что Сергей рассказывал о своей довоенной жизни в подмосковном городе Серпухове, – у него была бурная юность, осложненная неудачным социальным происхождением, но он сумел выстоять, и пробился в свою любимую авиацию, и храбро воевал, и вообще его жизнь, хоть он и не достиг больших высот, казалась такой прямой и ясной.

И о своей жизни я задумалась. Вспоминала маму, как она металась между счастьем и отчаянием. Вспоминала отца с его страшной судьбой... и веселого дядю Руди... и, конечно, Ванечку Мачихина, первую мою любовь... Так много, так невысказанно много было у меня отнято – почему?

Эти *почему* лезут из закоулков памяти, требуют ответа – а где взять ответ?

Пересекаю улицу Самеда Вургуна. Справа красное двухэтажное здание института физкультуры (теперь он почему-то стал техникумом), слева сквер, запыленный шелухой. Тут, под пыльными айлантами, в прежние годы вечно торчала шпана с окрестных улиц – этих хулиганов и бездельников в Баку называли презрительным словом «*амшара*». В войну сквер опустел.

Гляди-ка, опять стоят. Похожие на тех, что грызли тут довоенные семечки. Тоже черноусые, с дерзкими глазами, в кепках полуметрового диаметра. Галдят, хохочут, сплевывают. Я, хоть и уроженка Баку, азербайджанский язык не знаю, так, десятка два обиходных фраз только. Проходя мимо сквера, улавливаю отдельные знакомые слова, среди них – «*эрмени*»...

Ох! В детстве мы слышали от взрослых, что при царе, в пятом году, была в Баку татаро-армянская резня, и повторилась в восемнадцатом, – но потом, при советской власти, вражда угасла и превратилась, как говорится, в нерушимую дружбу народов. Мы и представить себе не могли, что внезапно вспыхнет старая ненависть. Вы понимаете, о чем я говорю: о Нагорном Карабахе, конечно. О Сумгаите, который нас буквально потряс... Господи, где это произошло, в какой стране? Не в Эфиопии, не в Камбодже – *у нас* резали и насиловали, у нас, у нас, при *победившем социализме!* Это – не понять, не объяснить.

Я набросилась на Котика Авакова:

– Ты все знаешь, объясни, *что случилось?*

Котик с обычной своей горячностью начал объяснять. Смысл его слов заключался в том, что виноваты обе стороны. Азербайджанские власти десятилетиями зажимали армянскую культуру в Нагорном Карабахе, где большинство населения армяне. И не только культуру, но и армянские кадры. Что до армян, то они виноваты тоже – особенно в Ереване, где требования отобрать НКАО у Азербайджана и передать Армении раздаются не только на нескончаемых митингах, но и содержатся в правительственных заявлениях. Эти заявления очень раздражают азербайджанцев.

– Где же выход? – спросила я.

Сергей сказал:

– Не может быть и речи о передаче Карабаха Армении. Во-первых, это несправедливо с исторической точки зрения. Во-вторых, создает опасный прецедент. Ты представляешь?

– Представляю, представляю, – нетерпеливо перебил Котик. – Только надо еще разобраться, что справедливо и что – нет. А то, что может пойти прахом империя, это верно.

Сергей поморщился, глаза у него стали оловянные.

Впервые я заметила этот его оловянный взгляд в теперь уже далекий, давно и трудно пережитый августовский день; на рассвете наши танки вошли в Прагу, днем передали по радио «Заявление ТАСС», а вечером пришли к нам гости (Сережин день рождения как раз 21 августа). Конечно, сразу заговорили о танках в Праге, и Котик, крайне возбужденный, схватился с Сергеем в резком споре. Тогда-то и началось у них, друживших прежде, взаимное охлаждение. Тогда-то я и поразила новым выражением глаз у Сережи – их тускло-металлическому блеску.

И вот, на двадцатом году после того спора происходит Сумгаит. И Котик Аваков бросает:

– Пойдет прахом империя.

– Что за чушь несешь? – морщится Сергей.

Слово за слово – схватились. Мы с Эльмирой поспешили вмешаться, утихомирить наших мужей. Но какой там мир. Они разошлись по углам, как боксеры в перерыве между раундами, а Эльмира и я как бы обмахивали полотенцами их разгоряченные лица. Не умеют они спорить спокойно. Только себя слышат, доводы оппонента их только ярят.

А кто у нас умеет спорить?..

Я прохожу по Пролетарской мимо сквера, а оттуда несется галдеж, и слово «эрмени», как мяч, перебрасывается от одного к другому.

Иду по родной улице, где знаком каждый дом, каждый двор. Вот уже завиднелся трехэтажный темно-серый дом, где я родилась, из окна которого впервые взглянула на белый свет – или, если угодно, на Божий мир. Все здесь – родное, каждая щербинка в стене. Отчего же мне так неуютно? Так не по себе?..

Глава вторая

Серпухов. Тридцатые годы

Сергею было тринадцать лет, когда погиб его старший брат девятнадцатилетний Вася Беспалов. Он, Вася, был активным комсомольцем в Серпухове. В 1930 году его назначили уполномоченным по весенней посевной кампании в только что сколоченный колхоз «Счастливым путем». В сельском хозяйстве Вася, горожанин, ничего не смыслил, да ведь и не в том было дело. А уж в классовой борьбе он разбирался.

На общем собрании в «Счастливом пути» Вася объявил мужикам, чтоб собрали весь семенной фонд. Деваться было некуда, на то и колхоз. Но когда Вася, по имевшейся инструкции, потребовал, чтоб еще и фураж для конной колонны собрали, «Счастливым путем» уперся. Кричали: «Не отдадим! А нам что, подышать?» Вася стал угрожать. А ему в ответ: «Заткнись, поповское отродье!» Ну, это Вася стерпеть, конечно, не мог. Выхватил наган, но его толкнули в руку, выстрел пришелся по потолочной балке. Завязалась драка, Вася упал с проломанным черепом.

Спустя полтора года Сережа Беспалов вступил в комсомол. Он написал в заявлении, что хочет встать на место брата, убитого классовым врагом. Что хочет бороться за мировую революцию. И так далее. Тогда же он поступил учеником слесаря на Ново-Ткацкую фабрику и ушел из дому в фабричное общежитие. Да уже и дома у него не было. То есть сам-то дом был: отец Сережи, священник Егор Васильевич Беспалов, имел свой дом рядом с церковью Жен Мироносиц. В этой церкви он служил службу, требы повседневные выполнял, крестил, отпевал. Словом, как писали в то время газеты, сеял дурман и опиум среди народа. Но, между прочим, имелись в характере Егора Васильевича черты, не совсем обычные для попа. Он, вот странность такая, не к дарам верующих и не к бутылке тянулся, а к книге. У него Ключевский и Веселовский на полке стояли, «Очерки русской культуры» Милюкова. У него со старшим сыном, Васей, споры гремели, а младший, Сережа, слушал с жадным вниманием.

– Вскорости, – вещал Вася, – счастливую построим жизнь для всех трудящихся.

– Пока эту жизнь постройте, – возражал отец, – вы мужика по миру пустите, а пролетарии что будут кушать?

– Тракторами все межи перепашем, – рубил Вася. – Будет большой хлеб. Тот, кто работает, досыта будет есть.

– Ну, дай-то Бог, чтоб досыта. Только кто же о душах людских позаботится? Душе не один хлеб потребен.

– Душа! – У Васи глаза вспыхивали веселой злостью. – Никакой души нету, батя. Есть сознание, мы и будем его развивать.

В одном из районов Серпуховского округа некий священник под нажимом власти сложил с себя сан и в местной газете объявил, что не желает больше «дурачить трудящихся». Отцу Егору предложили последовать благому примеру. Он предложение отверг. После гибели Васи отец Егор замкнулся, глядел сурово. Своего церковного старосту, отказавшегося службу нести, проклял. А тот на него – жалобу. Да скорее донос. Назревало недовольство окружка, ну и созрело в конце-то концов. В том же 31-м году вышло распоряжение выселить бывшего священника Беспалова, как чуждый элемент, мешающий строить новую жизнь, из дома, а дом передать окрсовету безбожников для развертывания агитработы.

Как раз в те дни его жена, попадья, сильно болевшая после Васиной гибели, отдала Богу душу. Разрыв сердца у нее случился. Сергей помог отцу увязать книги, иконы, одежду, остальное имущество бросил поп за ненадобностью, и переехал он на окраину города в дом одной усердной прихожанки, вдовы рабочего-чесальщика с Вокзально-ватной фабрики. Меж седых от старости бревен этого дома пророс мох. Под застрехами лепили гнезда ласточки. Бывший

священник, с навсегда окаменевшим лицом, устроился сторожем на Лукьяновском кирпичном заводе. Стал сильно попивать. Приютившая его добрая женщина, сорокапятiletняя вдовица, была zelo искусна по части самогона.

Сергей как-то забежал навесить отца. За дощатым столом, нечесаный, в нижней рубашке, со стаканом в руке сидел Егор Васильич, и гудел его низкий голос, колебля язычок керосиновой лампы, и грозные отсветы ходили по его лицу, обрамленному седеющей бородой.

– В нашей юдоли, – гремело и хрипело в старых стенах, – обратим сердца к Господу... да низринет Он в милости неизреченной покой в смуту душ наших... да затворит кровь... она же обильно теча-а-аше...

Пьяненькая вдова, с мокрым от слез рыхлым лицом, всхлипывала, вторила протяжно:

– Теча-а-аше...

Из угла горницы, напивавшейся тяжким сивушным духом, сурово смотрели темные лики Христа и Богородицы. Оборвав гудение на полуслове, отец уставился на Сергея. А тот сел на лавку у стены и сказал:

– Здрасьте. Верно, значит, батя, про тебя люди говорят.

– Что говорят? Какие люди?

– Что пьешь много. Сам раньше проповедовал, что пить грешно. Как же это, батя?

Отец нахмурил лохматые брови.

– Видишь, Катерина Никитична, – обратился к вдове, – грешно, говорит. Ага, грешно! А выгонять людей, имущество отнимать – не грешно?

– У тех только отнимают, кто чужим трудом нажил, – сказал Сергей, поднимаясь. Не было смысла продолжать разговор, на разных языках они с отцом говорили.

– Во грехе живем! – выкрикнул отец и кулаком стукнул по столу так, что бутылка качнулась и заметался огонек в лампе, заходили по горнице тени. – Во грехе великом! Идет князь мира сего и во Мне ничего не имеет!.. Аки первые христиане, брошены на растерзание зверю...

– Хватит, батя, – прервал Сергей его пьяную темную речь. И взглянул на вдову: – Предупредить хочу, самогон варить запрещено. Очень просто заарестовать могут.

– Очень просто! – опять загудел Егор Васильич. – Всех арестовать! Всех в Сибирь! Расчисть дорогу хвостатому...

– Хвоста-а-атому! – подхватила вдова.

Сергей надвинул кепку и, не простившись, пошел прочь.

Ему жалко было отца. Но разве вразумишь человека, у которого в голове одна старорежимная муть? Да и спешил он: в тот вечер в Доме Рабпроса имело быть собрание рабкором. Он, Сергей, как раз и был рабкором, писал заметки в местную газету «Набат» – про фабричные дела, про активную комсомольскую жизнь. Такое имел пристрастие.

А еще хотелось ему на собрании встретить Лизу, комсомолочку с Ногинки, и жаркая мысль об этой встрече вытеснила жалость к спившемуся родителю.

Жизнь, в общем, шла правильно. Как предвидел Маркс, как указал Ленин, так и шло, а уж товарищ Сталин твердо вел к коммунизму, отбрасывая последних имевшихся в стране эксплуататоров. Правильно все шло.

Вот только «легкая кавалерия»...

Нет, не о гусарах, конечно, речь. Легкой кавалерией прозвали группы активных комсомольцев, выявлявших на заводах и в учреждениях всякие неполадки.

Так вот, в 1933 году легкая кавалерия Серпуховского окружкома ВЛКСМ выявила на Ново-Ткацкой фабрике попovichа. Сергей, само собой, выступил на собрании, заявил, что давно порвал с родителем, про брата вспомнил, павшего в классовой борьбе, – просил не исключать. Но большинством голосов прошло все же исключение из комсомола. Более того: рассерженная Сергеевым упорством ячейка во главе с Кирпичниковым жестко поставила перед администрацией вопрос о снятии сына священника с производства.

На семнадцатом году жизни Сергей сделался безработным. Образование у него было семь классов, он любил книжки читать, особенно любил «Чапаева» и «Россию, кровью умытую», Маяковского тоже. Сам писал заметки в газету. А мечта у него была – авиация. Очень хотелось ему выучиться на летчика. Взлететь над городом хотелось и плюнуть оттуда, с высоты, на Федьку Кирпичникова с его вечно насупленным не улыбочивым лицом.

А пока что он наведывался на биржу труда на Красноармейской, пробавлялся временными работами, ну и, само собой, обивал пороги окружкома комсомола. Там завотделом рабочей молодежи крепкий был парень, сам из московской милиции, такой Фегельман, обсыпанный веснушками. Он объявил Сергею, что Кирпичникова, как твердого молодого большевика, вполне поддерживает.

– Ты должен понимать, Беспалов, что классовая борьба обостряется, – строго сказал Фегельман. – А значит, бдительность особо нужна.

– Да понятно, – ответил Сергей. – Я ж не жаловаться пришел. Я понимаю текущий момент.

– Хорошо, – кивнул завотделом. – Ты парень грамотный, и мы не хотим тебя отбросить к малосознательной молодежи. Ты должен, Беспалов, себя проявить на ударном фронте против пережитков прошлого.

И Сергей старался. Осенью 34-го года в городской газете появилась его заметка о закрытии последней из церквей Серпухова – той самой церкви Жен Мироносиц, где прежде служил его отец. «Свершилось! – так начиналась заметка. – Закрылся последний притон одурманивания трудящихся!» И дальше шло, как бригада рабочих осматривает церковные помещения и «весело и радостно принимает имущество» и как дьякон пытался увести председателя комиссии по приемке за царские врата и подпоить вином, чтобы такую, значит, устроить провокацию. «Дешевый трюк! – восклицал Сергей. – Горькое похмелье церковников, остающихся безработными! Отныне здесь будет хлебохранилище. Пятипудовые мешки с зерном наполняют высокое помещение, где гулко раздаются шаги рабочих. Мешки ложатся стройными рядами. Они постепенно закрывают святых, каких-то баб с горшками, намалеванных на стенах. Вот исчезли ноги христосика. Вот мешки скрыли его фигуру, и только нелепо глядит на нас лик “сына божьего”...»

Заметку в окружкоме похвалили.

Прочитал ли ее Егор Васильевич, Сергей не знал. Когда его вызвали к помиравшему отцу, тот лежал недвижно после удара, речи не имел, только глазами медленно повел в сторону Сергея и смотрел в упор последним взглядом.

Хоронили Егора Васильевича ноябрьским днем под мокрым снегом. Народу было пять человек, не считая Сергея: добрая вдова рабочего-чесальщика, безработный дьякон из закрытой церкви Жен Мироносиц да три старухи, бывшие прихожанки. Егор Беспалов лежал в гробу с расчесанной седой бородой, с суровым лицом, на которое ложился и не таял снег. Женщины плакали, дьякон начал отпевать. Сергею слушать это было невмочь. И хоть и жалко было отца, он потихоньку подался в сторону, надел шапку да и пошел с кладбища вон.

А в начале 35-го года Сергея восстановили в комсомоле. Окрполитпросвет направил грамотного комсомольца в клуб имени Буденного «просвещенцем». Примерно в то же время он записался в городской аэроклуб. Он же бредил авиацией. На всю страну гремели семеро героев-летчиков, вывозивших челюскинцев из ледового лагеря Шмидта. Сергей не только их имена знал, но и машины, все типы самолетов, кто на чем летал, кто скольких вывез – ну все, все, чем полнились газетные столбцы. В аэроклубе он усердно учил теорию, а летом начались полеты с инструктором на единственной клубной машине У-2. Счастливо жилось ему в том году.

А еще очень влекло Сергея сочинительство. И вскоре взяли его из клуба Буденного на местное радио – в редакцию «Радиопогонялки». Это была такая радиогазета, колючие строки, которая бичевала классовых врагов, а также плохих работников – лодырей, пьяниц, прогуль-

щиков. И не только бичевала в радиопередачах – сотрудники ходили на фабрики, в районы выезжали для разбора заметок, требовали принятия мер. Тоже вроде бы – легкая кавалерия. Погонялка, в общем.

Сергей из местных фабрик облюбовал Ногинку. Там работала нормировщицей Лиза Монахова, бойкая зеленоглазая девушка с большим бюстом и шестимесячной завивкой. Многие комсомолки к тому времени поснимали красные косынки и стали делать завивку-перманент. А иные и губы подкрашивали. Лиза губ не красила, у нее и так они были яркие. У Сергея голова туманилась, когда они с Лизой целовались. Она же вертела девятнадцатилетним паренком, как хотела. То разрешала «подержаться», то обрывала ласки строгими словами. Таскала Сережу на танцы – то на открывшуюся в парке танцплощадку, то на вечеринки в общежитии Ногинки. Ловкий в движениях, сызмальства способный к ритму, Сергей скоро выучился не только модному фокстроту, но и прочим танцам, включая румбу и вальс-бостон.

Закрутила его Лиза.

В июле они расписались. А в конце того же 35-го года, аккурат под Новый год, Лиза родила Сергею сына, и был сыночек наречен Васей в память о брате, павшем в борьбе за новую, коллективную жизнь.

Жили молодожены у Лизиных родителей на Фабричной улице. Лизиного отца Монахова, бывшего акцизного чиновника, а ныне служащего окрфо, в городе не любили. Он распоряжался на открытых торгах, где продавали имущество, изъятое у граждан за неплатеж налогов, и поговаривали, что к его рукам прилипали то машина швейная, то трюмо, то еще что. Но человек Монахов был веселый, выпить не дурак, зятю подносил, за политику любил высказаться.

Однажды весной ездил Сергей по радиоделам в соседний район, а вернулся под вечер домой – видит, на углу Фабричной и Революции стоит Монахов, покуривает.

– Что это вы, Петр Игнатьич, – спрашивает Сергей, – под дождичком прохлаждаетесь?

– Да вот, – громко отвечает Монахов, щуря зеленые, как у дочки, глаза, – покурить вышел. А дождик пустяковый. – И еще голос усиливает, словно с глухим говорит: – А ты, Сережа, где был?

– Чего вы кричите? В Лопасню ездил по делу.

– Ага, в Лопасню. А ты слышал, Сережа, по радио сообщили, китайская красная армия в этот вступила... Гуй... Гуй... – И смеется Монахов, показывая крупные щели меж зубов. – Название еще такое...

Но не стал Сергей поддерживать разговор о китайских делах, вошел в квартиру (на первом этаже жили), а Монахов за ним следом. В конце общего коридора были у них две комнаты – большая проходная и маленькая, где и помещались молодожены и их новорожденный сыночек Вася, для которого знакомый столяр сколотил кроватку. Сергей прошел через большую комнату, где за выцветшей ширмой лежала вечно больная жена Монахова, и только протянул руку к дверной ручке, как дверь отворилась и вышел из малой комнаты дородный краснолицый товарищ, которого в городе все знали.

То был Петровичев, заслуженный красный командир, бравший Перекоп, а после Гражданской войны возглавлявший в Серпухове исполком совета. Твердой рукой строил Петровичев новую жизнь. Сам бывший текстильщик, радел о классовых интересах рабочих здешних текстильных фабрик, был непримирим к искривлениям классовой линии в учреждениях города и деревнях округа, где развертывалась сплошная коллективизация. Но как раз в год великого перелома что-то и у Петровичева в его государственной жизни переломилось, а что именно – знало лишь начальство. С должности предокрисполкома слетел он вниз по лестнице через несколько ступенек, задержавшись на той, что называлась предокрпрофсоюз. И не то чтобы слинял Петровичев, но как-то растерял былую грозность красного конника. Стал выпивать и погуливать, переженился, взяв в жены молодую секретаршу. А та немедленно перекрасилась в блондинку и потребовала, чтобы муж на работу не пешком ходил, а ездил в служеб-

ном автомобиле, хоть и недалеко было, всего-то четыре квартала. А после убийства Кирова началось сильное перетряхивание кадров, проверяли придирчиво – и припомнили Петровичеву какие-то необдуманные слова, обвинили в правом уклоне. Он опять каялся, каялся – и слетел еще ступенькой ниже, получив должность заведующего окружным финотделом, даром что в финансах не был силен.

Краснолицый, крупный, застегивая на ходу тужурку, вышел Петровичев из маленькой комнаты и, не глядя на ошеломленного Сергея, направился к выходу. Монахов поспешил за ним – проводить начальника.

Сергей вступил в комнату в тот момент, когда Лиза, с колышущимся под наспех надетым платьем бюстом, накидывала покрывало на супружескую постель. И до того растерялся Сергей, что не смог даже высказаться как следовало, не то что руку поднять. Пробормотал только:

– Ты что... ты что же... ты как же смеешь...

Лизе бы в ноги броситься, попросить прощения, – может, Сергей, потрясенный, и простил бы ей случайный грех, мало ли... А она, нахалка, встала, руки в бока, зеленые глазищи выкатили и – как бы с наивным удивлением:

– А что тут тако-ого! У нас не буржуйские теперь законы. Свободная любовь у нас...

Услышавши про свободную любовь, разом вышел Сергей из оцепенения, стал бешено кричать, а тут и Монахов вернулся и с ходу напустился на Сергея:

– Чего разгавкался? Кто ты есть такой, чтоб на нее с матом? Своего сына бы постыдился, – кивнул на хнычущего в деревянной колыбели младенца.

Сергей задохнулся от этих наглых слов:

– Да вы... да она... при ребенке...

– Ты на себя посмотри! – гвоздил Монахов. – Взяли тебя в семью, голь перекатная! Нелатаные штаны по первости носишь!

Сергей ушел из монаховского дома в общежитие, но спустя три месяца вернулся: Лиза упростила, зазвала на сыночка посмотреть, какой Васенька стал пригожий, – и не устоял под ее натиском Сергей. Монахов вел себя смирно, да Сергей почти и не разговаривал с тестем, хотя тот и порывался обсудить дальнейшие успехи китайской красной армии. А у Петровичева опять пошли неприятности по партийной, да и по финансовой линиям.

Потом – снова на почве «свободной любви» – произошла новая ссора, и на этот раз Сергей ушел от Лизы окончательно. В загсе оформили им развод.

А летом 1936 года поехал он в Борисоглебск поступать в авиашколу. У него на руках были комсомольская путевка, справка из аэроклуба о налетанных часах – все чин чинарем.

Такое стояло время: мальчишки рвались в авиацию.

Глава третья

Баку. Тридцатые годы

Моя девичья фамилия – Штайнер. Мой отец был немец. Да, представьте себе, азербайджанский немец. Насколько я знаю, немецкие колонисты были приглашены в Россию еще при Екатерине Второй. Они селились на новых землях на юге, в Новороссии, в течение девятнадцатого века обосновались в Поволжье и на Кавказе, добрались и до Закавказья. Вокруг Гянджи (она же Елисаветполь, он же Кировабад, а теперь снова Гянджа) расположились немецкие поселения. Там очень красивые и плодородные места. Немцы занимались земледелием, виноградарством, их хозяйства процветали.

Мне было года четыре или пять, когда родители однажды летом привезли меня погостить к дяде Руди. Он жил в белом доме с крутой черепичной крышей, улица была аккуратная, вся в садах, а за городком (потом узнала его название – Еленендорф) простиралось море виноградников. Это зеленое море с ровными рядами-волнами я запомнила на всю жизнь. А на улице меня дразнили местные тюркские мальчишки, болтавшие не только на своем языке, но и по-немецки и немного по-русски. Они нараспев кричали: «Божья коровка, улеты на нэбо, там дайне киндыр кушыют пендыр»¹. Мне это казалось обидным, я плакала, замахивалась кулачком на обидчика, но Антон и другие дети дяди Руди налаживали мир. Один мальчишка дал мне свой самокат и научил кататься, отталкиваясь ногами.

Дядя Руди – Рудольф Штайнер – был родным братом моего отца Генриха Штайнера. Он состоял в правлении крупного винодельческого кооператива «Конкордия», созданного местными немцами. Довольно часто дядя Руди приезжал по делам «Конкордии» в Баку. Шумный, веселый, он появлялся в нашей квартире на Пролетарской, и я мигом оказывалась на его широком, удобном, как диван, плече, и он, держа меня за ноги и дыша винным духом, выпаливал: «Du, meine kleine Ziege!» Или: «Meine dumme Ziege!»² И я, такая всегда обидчивая, нисколько не обижалась. Дядя Руди был вовсе не похож на брата, моего отца – тихого меланхолического учителя.

Отец преподавал немецкий язык в школе. Но подлинной его страстью был театр. Мама и познакомилась-то с ним в ТРАМе – Театре рабочей молодежи, что напротив Парাপета (теперь в этом здании кинотеатр «Араз»). И влюбилась в режиссера с тихим голосом. Начинать там с живой газеты, с «Синей блузы», – я помню, хоть и туманно, их представления, мама иногда брала меня в ТРАМ. Помню, как она, красивая, пышноволосяя, выкрикивала вместе с другими синеблузниками: «Эй вы, небо! Снимите шляпу! Я иду!» Может, потому и запомнила, что мне показалось странным, что небо носит шляпу. Дальше «Синей блузы» мама не пошла, не получилось из нее артистки. А вот отцу удалось осуществить мечту юности – он поставил «Разбойников» Шиллера. Я присутствовала на премьере, мне уже было лет десять, – о, как я мгновенно влюбилась в красавца Карла Моора, как возненавидела Франца Моора с его кошачьими крадущимися движениями. Страшно взволнованная, зареванная, я смотрела из первого ряда, как отец вышел на аплодисменты и стоял на сцене, смущенно поблескивая пенсне, среди рукоплещущих ему артистов. Это был триумф отца, вершина жизни.

Вскоре его пригласили в БРТ – Бакинский рабочий театр – ставить пьесу «Чудесный сплав» Киршона. Конечно, Киршон – это не Шиллер. Однако отец высоко оценил предложение: к нему, режиссеру-любителю, обратились из профессионального театра. Добросоветнейший из всех людей, каких я знала, он начал готовить постановку, но – стечение обстоятельств, которые столь часто и внезапно вторгаются в жизнь, прервало работу. Обострилась

¹ ...там твои дети (киндыр – нем.) кушают сыр (азерб.).

² Ты, моя козочка... Моя глупая коза (нем.)

астма, мучившая отца с юности, пришлось лечь в больницу. Потом арестовали дядю Руди. Словом, на афише премьеры «Чудесного сплава» фамилия отца не значилась. А вскоре и сам спектакль прикрыли, имя Киришона исчезло с театральных афиш – ну, в общем, шел тридцать седьмой год...

Но вернемся к дяде Руди. Он приезжал из своего Еленендорфа по делам «Конкордии» и останавливался у нас. На столе непременно появлялась бутылка коньяка с фирменной бордовой наклейкой. Вместе с дядюшкой в нашу тихую квартиру, парящую в романтических театральных высях, вторгалась натуральная действительность – крутой раствор земли, минеральных удобрений и какой-то чертовщины, мне в то время непонятной. Впоследствии, конечно, поняла: «Конкордию» сильно прижимало бакинское, а может, и московское, начальство. Не зря же дядя Руди на трех языках – немецком, русском и азербайджанском – извергал проклятия по адресу наркомзема, наркомфина и кого там еще. Он кричал: «Придумали пугало и носятся с ним! Какой у нас кулацкий элемент? Мы общинное хозяйство, мы кооператив! Что тут плохого, доннерветтер? В чем мы виноваты, кюль башына?»³

С дядей Руди иногда приезжал старший сын Антон, не по годам серьезный мальчик, с утра кидавшийся не к чашке чая, а к газете, к сводкам военных действий в Абиссинии. Он мне показывал в газете карту и тыкал пальцем: «Видишь, вот провинция Тигре. Тут итальянские войска, а тут абиссинцы, понимаешь?» Я кивала, хотя ничего не понимала в этой войне. А он, Антон, когда дядя Руди очень уж расходился, сводил рыжеватые брови в сплошную линию и говорил: «Хватит, папа. Никто не виноват. А вы все разбогатели». – «Ну и что тут плохого? – орал дядя Руди с багровым от коньяка и гнева лицом. – Мы работаем сами, не экс-плуатируем никого! Что плохого? И что толку от такого разбогатения, если купить нечего? Вот ты велосипед хочешь, а где купить?» – «Не хочу я велосипед», – хмурился Антон. «Хочешь! – Дядя Руди ерошил свою седовато-рыжую шевелюру. – И я куплю! Только с переплатой, у спекулянта, доннерветтер!»

«Конкордию» задавили налогами, а может, и просто запретили, разогнали – теперь уж не помню. А весной 37-го года дядю Руди арестовали. В том же году выслали в Сибирь его жену, пятнадцатилетнего сына Антона и двух дочерей. Когда началась война, Антон рвался на фронт, желая искупить кровью вину отца, но его, как немца, не взяли. Единственное, что ему доверили, это работу в шахте в Коунраде, и он так и пошел по шахтерской части, по цветным металлам, впоследствии, много позже, заделался профсоюзным деятелем. Года четыре тому назад Антона хватил инсульт, он не говорит, передвигается подтягивая ногу, – такая вот судьба. Мама его давно умерла. Сестры живы, обе замужем, живут в Казахстане, одна в городе Талды-Курган, другая в городе Тасты-Талды, мы переписываемся, и я, бывало, путала их города. Тот было смеху. Что же до дяди Руди, то он исчез бесследно.

А в июле сорок первого года, вскоре после начала войны, моего отца – вместе со всеми «лицами немецкой национальности» – выселили из Баку. Мы с мамой провожали эшелон, но подойти к отцу не могли: перрон был оцеплен. Я плакала. Отец печально смотрел сквозь пенсне из окна вагона. Видел ли он нас издали в толпе провожающих? Наверяд ли. Когда эшелон тронулся, он неуверенно взмахнул рукой.

Этот прощальный взмах и сейчас отдается болью в сердце.

Отец не вернулся из ссылки. Вернее, он до нее и не доехал. Спустя годы Григорий Калмыков, второй мамин муж наводил справки, и единственное, что ему удалось узнать, это то, что отец умер в пути и похоронен где-то на степном полустанке в Казахстане.

Его просто закопали в наспех вырытую яму.

³ Пепел на голову (азерб.)

Глава четвертая

Баку. Ноябрь 1989 года

Трехэтажный дом на Пролетарской угол Корганова (по-старому: на Церковной угол Мариинской) принадлежал когда-то богатому азербайджанцу-нефтепромышленнику. Вообще-то до революции азербайджанцев называли татарами, после революции – тюрками, название «азербайджанцы» было принято в тридцатые годы. Так вот. Мой дед Штайнер, отец отца, работал у этого нефтепромышленника управляющим на одном из промыслов. Со своей большой семьей он занимал в доме хозяина весь бельэтаж. После революции дом, само собой, у буржуа отняли, начались уплотнения, – в результате остались у Штайнеров две смежные комнаты. Штайнеры разъехались: кто-то за границу, Рудольф – в Еленендорф под Гянджой, старшие вымерли, и остались в квартире на Пролетарской только мой отец и его престарелая парализованная тетка. Я помню ее немного – рыхлую, в мятом халате, с седыми усами. Стуча палкой, она тащилась в уборную, там находилась долго, и сосед-азербайджанец, благообразный служащий банка (я его называла дядя Алекпер), терял терпение, барабанил в дверь, а оттуда доносилось жалобное мычание тети.

Тетя умерла уже давно.

Тут я родилась и выросла, отсюда уехала в Ленинград, сюда и вернулась в пятьдесят втором, когда Сергей вышел в запас. Здесь выросла моя дочь.

Моя дочь открывает мне дверь и встречает любезным восклицанием:

– Наконец-то! Чего ты так долго?

– Ты бы поздоровалась, – говорю, снимая пальто.

– Да, да, здравствуй! Я сижу как на иголках, у меня в одиннадцать производственное совещание.

Олежка выбегает в переднюю и бросается ко мне. Вот она, моя радость. Моя единственная отрада. Ну, идем, миленький, идем, родной, покажи, что ты нарисовал утречком. Треплю внучонка по теплой белобрысой голове, вполуха слушаю наставления моей деловой дочери (суп свари, морковь и капуста в шкафчике на кухне), а Олежка тем временем раскладывает на своем столике рисунки:

– Баба, смотри!

Он у нас художник-маринист: рисует только пароходы. Увидел однажды с Приморского бульвара, как подходит к причалу белый пароход, паром из Красноводска, и с тех пор малюет один лишь этот сюжет.

– Здорово, Олежка, – восхищаюсь вполне искренне. – А тут что у тебя нарисовано на корме? Мачта такая?

– Ма-ачта? – Олежка снисходительно смеется. – Это пушка!

– Ну, Олежек, зачем же пушка? Не нужна тут пушка.

– Мама, – заглядывает в комнату Нина, уже одетая, увенчанная огромным черным беретом. – Мама, я пошла. Между прочим, вчера Павлик послал наши данные.

– Какие данные?

– Ну, все, что нужно для вызова. Пока!

Хлопает дверь.

– Баба, – теребит меня за руку Олежка, – а почему пушка не нужна? (У него получается: «пуська».)

– Потому что... это ведь не военный корабль...

Чувствую: похолодели руки и ноги. Сердце колотится, колотится, будто его подстегнули. Да уж, подстегнули. Значит, все-таки решили уехать. Сколько было разговоров, уговоров...

Сергей твердил Нине, что своим отъездом она перечеркивает его жизнь... И Павлику было говорено, что нельзя выдирать себя из родной почвы...

– Баба, знаешь, зачем пушка? В пиратов стрелять!

– Ну, Олежек, какие теперь пираты?

Совершенно не представляю, как смогу жить без вот этого паршивца сопливого. Нет! Вот лягу у порога – только через мой труп...

С Павликом поговорить! Нина взбалмошна. Моя покойная мама утверждала, что Нина вся в меня. (А мне-то казалось, что она, наоборот, в мою маму.) Взбалмошна, да. Склонна к эксцентричным поступкам. У нее нет «задерживающего центра», как выразился мой глубоко-мысленный муж. Кстати, где он находится, «задерживающий центр»?

Еще учась в девятом классе, Нина преподнесла нам замечательный сюрприз: вдруг забеременела. То-то было шуму на весь город. И, увы, на все гороно. Да, не удалось удержать событие в тайне, хотя второй его участник так и остался неизвестным: Нина наотрез отказалась назвать имя соблазнителя. Я-то подозревала, что это ее одноклассник, футболист, смазливый рослый парень из нынешних акселератов, у которых рост тела опережает развитие ума. Как раз в те годы пошла мода на мини-юбки, а уж моя Нина стремилась быть впереди моды. Не хочу сказать, что акселерата-футболиста спровоцировала излишняя открытость девичьих ног. Но все же, все же... Законодателям моды – если они у нас существуют – следовало бы помнить, что на южных окраинах государства имеет место повышенная сексуальность населения, объясняемая, может быть, обилием солнца, а может, исторической традицией Востока, а именно – ранним началом половой жизни. Так или иначе, мне пришлось иметь дело с практическими последствиями этих возможных причин.

Сергей был настроен против аборта. Он вообще перестал разговаривать с Ниной, пусть рожает, пусть вообще делает что хочет. Я была разъярена на непутевое наше чадо не меньше Сережи, но, в отличие от него, мне пришлось не только яриться, но и действовать. И действовать быстро, пока время не упущено безнадежно. Странно: жизнь то годами тянется медлительным рутинным потоком, то ее словно подхлестывает невидимый кучер, и она пускается вскачь.

После аборта Нина присмирела. Воспоминание о пережитом стыде и боли, наверное, мучило ее. Она ушла из школы, где – стараниями дружного женского учительского коллектива – ей объявили бойкот. Перевелась в экстернат. Много рисовала. Она ведь очень способная, и, я думаю, если б не ветер в голове (или, скажем, не отсутствие «задерживающего центра», где бы он ни должен был находиться), из нее мог бы получиться недурной график. В ее рисунках, поверьте на слово, было изящество, какое дается от природы. Или, может, от Бога?

В 69-м году, сдав экстерном выпускные экзамены, Нина поступила на архитектурный факультет политеха. Нас стращали, что туда без многотысячной взятки не примут. Однако многих тысяч у нас не было, да и если бы были, мы все равно не дали, не сомневайтесь. На этот счет, да и вообще, принципы у нас с Сергеем строгие. Без всякой взятки Нина успешно сдала экзамен по рисунку, а остальные экзамены – на уровне проходного балла. Она выглядела вполне взрослой девушкой: никаких кос, волосы взбиты башнеобразно (говорят, в такие прически заделывают банку, но это, наверное, ерунда; Нина банку на голове не носила), белая блузка, темно-синий костюмчик с макси-юбкой. Вот вам! – как бы объявляла эта целомудренная юбка акселератам с их бесстыжими взглядами. Вела Нина, я бы сказала, свободный образ жизни. Но стала умнее. Во всяком случае, больше не вляпывалась в неприятные истории.

В 72-м году, на четвертом курсе, вдруг объявила, что выходит замуж. Мы всполошились: кто таков, неужели опять футболист? Жених, однако, оказался вполне приличным юношей, однокурсником по имени Павлик Гольдберг. Ну что ж. Мы видели, какими глазами смотрел этот тихоня с тонкими неспортивными руками, торчащими из коротких рукавов полосатой, под тельняшку, тенниски, – какими красноречивыми глазами смотрел он на Нину. А уж она-

то купалась в излучаемой им влюбленности. Оживленная, раскрасневшаяся, болтала в свое удовольствие, сыпала студенческими хохмами, пила полусладкий «Кемширин» и курила. Сергей хмурился: сам многолетний куряка, он плохо переносил Нинино курение. В его, Сергея, представлении девушки должны были вести себя иначе.

Я опасалась, что, выйдя замуж, Нина не сможет – из-за беременности – окончить институт, ведь оставалось учиться всего год. Но она, как видно, и не собиралась рожать. Молодожены получили дипломы архитектора, устроились на работу. Павлик был недоволен. В Бакги-прогоре ему никак не давали объекты, в проектировании которых он бы мог развернуться в полную силу. «Павильоны, киоски, – тихо ворчал он. – А как гостиницу или административное здание, так непременно Курбанову... или Шихалиеву... Невозможно работать...» Может, он был прав? Нина подтверждала: оттирают Павлика в сторону, а ведь он такой талантливый. Я видела его эскизы, наброски необычайных зданий, вольную игру фантазии. У него были интересные – на мой взгляд – градостроительные идеи. Однако вместо Города Солнца ему поручили проектирование блочных домов в новом микрорайоне – унылых типовых параллелепипедов среди рыжих развалов песка и глины, вид которых мог навести лишь на мысль о тщете жизни. От всего этого лицо Павлика приобрело постоянное уязвленное выражение. Оно, выражение, не нравилось ему самому, и, чтобы как-то его прикрыть, он отпустил густую растительность. Черные вихры сползали с висков, превращаясь в вьющуюся бороду.

Какое-то время жили вместе с молодыми на Пролетарской, то есть на улице Видади. Потом произошло едва ли не самое крупное событие в нашей жизни: мы с Сергеем получили двухкомнатную кооперативную квартиру в огромном новом доме на проспекте Строителей, близ Сальянских казарм. Конечно, если б не Эльмира Керимова, занимавшая высокий пост в АСПС, мы бы такую квартиру ни в жисть не получили, – Сергей не любит касаться этой темы, но к чему скрывать? Эльмира нажала где нужно и сумела отстоять нас в Баксовете от неоднократных вычеркиваний из списков. Квартиру мы получили на девятом этаже. Лифт был скверный, полз отвратительно медленно, дребезжал и норовил остановиться – мучение, а не лифт. Он и останавливался, отдыхал неделю или дольше, и тогда приходилось пользоваться лифтом соседнего блока и потом пробираться по чердаку, на котором всегда гудел ветер, в свой блок. Но зато – какой вид открывался с нашего балкона на вечерний Баку, на бухту с мерцающими отражениями огней Приморского бульвара!

Слава богу, мы переехали, сбежали от капризов дочки, от брюзжания вечно недовольного зятя. Живите, мои дорогие, как хотите! Будем ходить друг к другу в гости, будем каждый день перезваниваться. Но жить только врозь!

Шли годы. Я уже и мечтать перестала о внуках – подозревала, что ранний аборт сделал свое нехорошее дело. Вдруг в 85-м Нина надумала рожать. Ей шел тридцать шестой год, это уже на пределе, мы всполошились – мало ли наслушались рассказов об аномалиях при поздних родах. Однако сюрприз на сей раз оказался превосходным: родился Олежка. Мой кудрявый любимец. Моя отрада.

Как в давние годы после рождения Нины, я снова испытала нечастое и потому особенно желанное чувство устойчивости, осмысленности, внутреннего покоя. Жизнь наладилась. Кризис в наших отношениях с Сергеем к тому времени миновал, он читал свои лекции, пописывал статьи в газету «Вышка» – словом, был при деле. Павлику поручили спроектировать комплекс для нового микрорайона – универсам – столовую – дом быта, – и он увлеченно колдовал над листами ватмана. Нину включили в группу, занимавшуюся застройкой нагорной части города – старого Чемберекенда, – и она, очень занятая, спланировала Олежку на мое попечение. Конечно, я уставала, но вот это ощущение внутреннего покоя – ну, вы понимаете...

Покой, однако, был недолгим (он нам только снится, не так ли?). Настали новые времена. Новое руководство призвало страну к ускорению, подстегнуло, так сказать, одряхлевших битюгов, тащивших колымагу государства. С газетных и журнальных листов обрушился

водопад информации, гласность отворила замкнутые уста. Сергей с утра кидался к газетам. «Оказывается, – сообщал он мне, морща лоб чуть ли не до лысой макушки, – оказывается, мы построили не социализм, а что-то другое. Ты подумай, прямо так и пишут!» Мне думать было некогда, Олежка требовал неусыпных забот, ему-то было все равно, при каком строе он родился. Но деформации построенного нами непонятого строя (так теперь называлось это – «деформации») очень скоро ворвались в нашу жизнь.

«Что-то братья-армяне раскричались, – сказал Сергей, вернувшись однажды с партсобрания (он состоял на партучете в обществе «Знание», где числился внештатным лектором). – В Степанакерте митингуют, – сказал он, – требуют передачи Нагорного Карабаха Армении». Я и раньше не раз слышала о недовольстве армянского населения Карабаха. «Так, может, надо удовлетворить их требование?» – «Да ты что? – уставился на меня Сергей поверх очков. – Как можно? Это же азербайджанская территория. Если начать перекраивать территории, это знаешь, что может повлечь...» – «Наверное, ты прав», – сказала я.

Меня в ту пору больше всего волновала сыпь на Олежкином тельце. Я созвонилась с Володей, сыном Котика Авакова и Эльмиры – он был хорошим врачом, – и привезла Олежку к нему в больницу. Он осмотрел, выписал мазь, похвалил Олежкино развитие, а потом вдруг спросил: «А что ваши дети, тетя Юля, не думают уезжать из Баку?» Я уставилась на его смуглое, как у Котика, удлиненное лицо с черными усиками. «Да ты что, Вовик? Зачем им уезжать?» – «Ну да, им можно и остаться», – непонятно сказал он и поспешил проститься.

«Раскричались братья-армяне»... Если б только митинговые страсти! Но в феврале 88-го пролилась кровь: произошла стычка армян и азербайджанцев в карабахском поселке Аскеран, в драке были убиты два азербайджанца. А 28 февраля – Сумгаит...

Я ушам не поверила, когда услышала страшную весть о погроме. Глазам не хотела верить, когда прочла в газетах. Убийства, резня, изнасилования... Как в пятом году... и в восемнадцатом... И это – на семьдесят первом году советской власти...

Это было свыше моего понимания. И уж тем более не понимала я, почему бездействовала милиция, почему не объявлено во всеуслышание, что погромщики будут, все до одного, сурово наказаны, почему в Баку не вывешены траурные флаги в знак скорби и сочувствия к пострадавшим...

Почему, почему, почему...

А когда в Баку начался нескончаемый митинг на площади Ленина и появился портрет Исмайлова – одного из трех осужденных сумгаитских погромщиков, – да, когда подняли над трибуной его портрет и мелькнуло зеленое знамя ислама, вот тогда Нина с Павликом заявили нам: надо уезжать. «Куда уезжать?!» – «Все равно куда». – «Да ведь вас никто не трогает, – говорили мы с Сергеем. – Вы же не армяне». – «Сегодня выгоняют из Баку армян, – ответила Нина, – а завтра возьмутся за евреев, за русских». – «Этого не будет», – убежденно говорил Сергей. «А того, что бьют армян, разве недостаточно, чтобы понять, что в Баку теперь жить невозможно?» – раздавался тихий голос Павлика. «А кто начал? – хмурился Сергей. – Армяне стали выгонять азербайджанцев с армянской территории. Они первые начали». – «Мы не хотим, чтоб нас втянули в гражданскую войну. Мы уедем». – «Да куда вы уедете? – сказала я с неясным ощущением разверзающейся под ногами пропасти. – Где вам дадут квартиру? Где пропишут?» – «Нигде, – кивнула Нина. – Поэтому мы решили за границу. Павлик еврей, ему разрешат выезд в Израиль». Вот тут-то у нас с Сергеем, что называется, отвисла челюсть. «Вы это серьезно?» – спросил он. «Такими вещами, папа, не шутят». – «Вот именно, – сказал Сергей. – Не шутят такими вещами. Если вы уедете за рубеж, – добавил совсем тихо, – то... то знайте, вы перечеркнете всю мою жизнь».

Между тем Олежка пририсовал к пушке вылетевший снаряд.

– Баба, – теребит он меня, – смотри, пушка стреляет в пиратов!

– Да-да, – бормочу. – Пушка стреляет...

Телефонный звонок. Я спохватываюсь, что не позвонила Сергею, он же моего звонка ожидал...

– Юля, почему ты не звонишь? – слышу его недовольный голос.

– Извини, Сережа, еще не успела. Нина торопилась, и я...

– Уже полчаса звоню, у тебя занято и занято.

– Ну, значит, соседи трепались.

У ребят общая линия с соседями – блокиратор.

– Как ты доехала?

– Нормально доехала. Все спокойно.

Все спокойно. Все спокойно – кроме того, что ведь я не смогу – не смогу, не смогу – жить без Олежки...

– Не забудь сварить себе геркулес, – говорю я и кладу трубку.

Глава пятая

Балтика. 1941 год

Мальчишки рвались в авиацию, рвался и Сергей Беспалов. Такое стояло время.

В конце лета 1936 года он оказался в Борисоглебске, тихом городке в Воронежской области, и подал бумаги в тамошнюю авиашколу. Очень надеялся на путевку, выданную Серпуховским окружкомом комсомола. Однако не помогла путевка. На приемной комиссии Сергею было объявлено, что по социальному происхождению он не может быть зачислен в училище.

Что ж, дело понятное. В летчики не каждому можно. Комиссия имела право на жесткий классовый отбор.

– Само собой, – подтвердил Марлен Глухов его мысли. – Не в землекопы же набирают. Но ты не тушуйся, Серега. Попрошу отца. Может, он замолвит за тебя слово.

Марлена-то, белобрысого шустрого паренька, с которым Сергей в те дни сдружился, в авиашколу приняли без всяких: его отец, красный командир, занимал в Воронеже крупную военную должность. Все основания имел Марлен гордиться отцом. Николай Ильич Глухов на германскую войну ушел мальчишкой-прапорщиком, был изранен шрапнелью, рублен саблей, награжден за храбрость Георгиевским крестом, выучился на летчика, был сбит, угодил к немцам в плен, в восемнадцатом году выпущен. То была одна из полуфантастических биографий русских людей переломного времени. В Гражданскую Глухов, неугомонный вояка, стал одним из организаторов красного воздушного флота. Войну окончил начдивом, учился в академии, потом его направили в авиационную промышленность.

Таким отцом – отчего ж не гордиться...

Сергею самолюбие не позволило вернуться в Серпухов. Он остался в Борисоглебске, поступил на вагоноремонтный завод, жил в общежитии. Надо рабочий стаж набирать, другого не было пути перечеркнуть в анкете плохое соцпроисхождение.

Опять стал он заметки пописывать в городскую газету, и, между прочим, произошли на этой почве неприятности. Имелись в общежитии малосознательные рабочие – как конец шестидневки, так пьяные скандалы, мат-перемат. Сергей возьми да и напиши заметку под названием «За здоровый быт». Бичующие строки кому-то сильно не понравились. В дальнем углу вагона Сергей привинчивал кронштейн для багажной полки, место было неудобное, шуруп шел трудно. Кто-то из бригады ходил по проходу, Сергей слышал за спиной голоса, а потом стихло все. Очнулся он в заводской санчасти от резкого запаха – нашатырь к носу поднесли. Жутко болела забинтованная голова. Так и не дознались, кто ударил его сзади кастетом. Можно сказать, повезло Сергею – не раскроили череп напрочь, как когда-то брату Васе. Только рубец на голове остался.

А шестого ноября вдруг появился курсант авиашколы Марлен Глухов. Давно не появлялся, занятия у них шли плотно, – а тут:

– Серега! У меня увольнение на праздники. Завтра утром едем в Воронеж!

Выехали ранним поездом, еще до света. В Воронеже Глуховы занимали огромную квартиру на Авиационной улице (всюду авиация – такая желанная и пока недосыгаемая). Там у Марлена была собственная комната – большая редкость в то время. Родителей дома не оказалось. Марлен отворил дверь своим ключом, ввел Сережу в свою комнату и, как только побросали вещички, сразу затеял бороться. У него после самолетов самым любимым занятием была французская борьба. Пыхтя, гнули и ворочали друг друга, и уже Сергей почти прижал верткого жилистого Марлена лопатками к ковру, как вдруг со стуком распахнулась дверь и в комнату вошел рослый военный человек. У Глухова-старшего был бритый синеватый череп, лицо, изуродованное неприятно розовым шрамом от скулы к подбородку, начищенные скрипучие сапоги и ромбы комкора на голубых петлицах.

– Ну и кто кого? – спросил комкор с начальственной хрипотцой.

Потом сидели за большим столом. (Все в этой квартире было крупное, основательное, дубовое.) Мама Марлена, голубоглазая блондинка, быстрая в движениях, как и ее сын, рассказывала о сегодняшней демонстрации, как она шла в заводской колонне под фанерным макетом самолета. Сергею, не избалованному антрекотами с жареной картошкой, очень запомнился этот обильный обед. Комкор ел молча. Насытившись, вытащил из просторных галифе коробку «Казбека», предложил юношам и закурил сам. Прищурил на Сергея холодные глаза, спросил:

– Так это тебя не приняли из-за поповского происхождения?

– Да...

– Надо было получше выбирать родителей, – усмехнулся Николай Ильич, дымя папиросой. – А щуки в Вороне водятся?

– Не знаю, – сказал Сергей, – я не ловил.

Он, и верно, не знал, какая рыба в речке, протекающей через Борисоглебск.

– Надо ловить. Щук надо ловить непременно. А не то они тебя ущучат, – пошутил комкор, поднимаясь и расправляя ладонями гимнастерку под ремнем.

Так произошло знакомство Сергея с Глуховым-старшим. Он и впоследствии бывал в этом доме, приезжал с Марленом. Объядался после тощих пожарских котлет, которые неизвестно из чего делали в заводской столовке. Николай Ильич, приехав поздним вечером с работы, заходил к сыну в комнату, покуривал, расспрашивал о курсантских делах, а Сергея – об его текущей жизни. Однажды сказал, что виделся на областном партактиве с начальником Борисоглебской авиашколы и, между прочим, замолвил словечко за Сергея – чтоб не чинили ему препятствий при очередном наборе.

– Спасибо, Николай Ильич, – обрадовался Сергей. – Огромное вам спасибо...

– Ладно, ладно, – прервал комкор поток благодарности. – Ты вот поймай мне в Вороне щуку покрупнее.

Жарким августовским днем Марлен разыскал Сергея на заводском дворе возле пригнанного на ремонт товарняка. Сергей поразился: глаза у Марлена, голубые, материнские, обычно выражавшие победоносную уверенность в правильном ходе жизни, сегодня были пустые, как бы незрячие.

– Еду домой, – сказал он. – Прощай, Серега.

– У тебя ж летняя практика...

– Кончилась практика. Отца арестовали позавчера. Прощай.

– Постой, Марлен... Как же это?

– Меня из училища вышибли. – И в третий раз произнес он: – Прощай.

Говорили, что Глухов был связан с Тухачевским. Вскоре и его жену арестовали. Квартиру в Воронеже, само собой, отобрали, а Марлен исчез. То ли его тоже выслали, то ли сам куда-то уехал.

Сергея, сделавшего новую попытку поступить в авиашколу, опять не приняли. Хотя он и выварился в рабочем котле. Социальное происхождение оказалось огнеупорным, оно плохо поддавалось «выварке». А может, помешало то, что враг народа за него попросил?

Сергей переживал, конечно. В то лето очень он тревожился о Леваневском, сгинувшем во льдах Арктики. Переживал падение Бильбао... гибель генерала Лукача под Уэской... Это были *настоящие* переживания. А то, что в авиашколу не приняли... ну, конечно, обидно... но объяснимо же... Просто надо лучше выбирать родителей...

О нескольких годах, проведенных в Борисоглебске, мало что известно: Сергей не любил касаться этой темы. Ну работал и работал на вагоноремонтном. В газеты пописывал – в городскую и областную «Воронежскую коммуны». Заседал в заводском комитете комсомола. И уже поговаривали о том, чтобы взять активиста инструктором в горком ВЛКСМ, и, возможно, так и пошел бы Сергей по комсомольской линии дальше, но осенью 1940 года его призвали в армию.

Просился, конечно, в авиацию. Просьбе в военкомате вняли: направили Сергея в ШМАС – школу младших авиационных специалистов – под город Ораниенбаум. Ну что ж, не летчиком, так хоть оружейником – лишь бы при любимых самолетах.

Выпуск из школы ускорила война. Досрочно испеченного сержанта Сергея Беспалова назначили в Первый минно-торпедный авиаполк Краснознаменного Балтийского флота. Базировался полк на аэродроме Беззаботное близ совхозного поселка, носившего это легкомысленное (и, если подумать, какое-то несоветское) название. На полуторке, присланной из полка, вместе с Сергеем поехали еще несколько выпускников, тоже назначенных в этот полк, и среди них – Алеша Лунев. С ним, громкоголосым и насмешливым, Сергей в школе сдружился. Теперь тряслись на пыльных проселках, оглядывая бегущие мимо поля и перелески, скромную зеленую красу Ленинградской области. Когда проезжали через деревеньки, Лунев кричал, завидя женщин: «Эй, бабоньки! Привет от Балтийского флота!» Он, Алеха, был питерский и обожал рассказывать, как они с друзьями на неведомой Сергею улице Лиговке хулиганничали.

В штабе полка новеньких распределили по эскадрильям и отправили прямиком на аэродром. Шли лесной наезженной дорогой. Лесу не было дела до войны, розовели березы на закатном солнце, на сосновой ветке стрекотала, поводя длинным хвостом, сорока. Лунев запустил в нее камнем. Вдруг возник рокот, он быстро нарастал, шел сверху. Сержанты задрали головы. Над ними пронесся, снижаясь и ревя моторами, огромный самолет. Они побежали, выскочили на опушку – ну вот он, аэродром, здоровенная плешь в лесу. По посадочной полосе катился, гася скорость и волоча облачко пыли, приземлившийся самолет.

– Вот это да-а, – восхищенно сказал Сергей.

Впервые они увидели в натуре ДБ-3, дальний бомбардировщик. Одно дело схемы, фотографии в учебном классе, другое дело – когда тебе чуть не на голову садится, так сказать, живая машина.

– Эй, стой! – К ним бежал боец аэродромной охраны, сдирая с плеча винтовку.

– Свои, свои, убери пушку, – сказал штабной сержант, сопровождавший новеньких.

Инженера эскадрильи, в которую попали Беспалов и Лунев, нашли в одном из капониров. Среди сосен у кромки аэродрома, в углублении, с трех сторон обнесенном земляным валом, стоял самолет. На его левой плоскости у мотора возились трое в серых комбинезонах. Штабной позвал:

– Товарищ военинженер, принимайте пополнение.

С плоскости прыгнул один, худющий, загорелый, во флотской фуражке с серебряным «крабом».

– Оба оружейники? Наконец прислали, мудрецы! – Он вынул записную книжку и карандаш с наконечником, записал фамилии. – Добро! Ты пойдешь во второе звено, ты – в третье. Шаповалов, помоги им устроиться. В палатке у Кравчишина пусть потеснятся, ничего, спать все равно некогда. Ну давайте, новенькие! Учтите: работать придется, как лошадям!

И так оно и было.

ДБ-3ф, дальние бомбардировщики во флотском варианте, предназначались для ударов по морским целям, они могли нести две торпеды или тысячу килограммов бомб. Но с начала войны использовали их на сухопутье. По несколько раз в день уходили они за линию фронта бомбить немецкие танковые колонны, речные переправы. А фронт приближался к Ленинграду, вылетов становилось все больше. Технический состав в Беззаботном вкалывал сутки напролет. Пока мотористы и механики проверяли матчасть, оружейники подвозили к самолетам бомбы, с помощью талей поднимали их в бомбовые отсеки, подвешивали под плоскостями. За день и ночь перетаскивали десятки тяжелых ящиков с пулеметными лентами. Много было возни со скорострельными пулеметами – вычистить от рабочей черной гари, зарядить, отстрелять, чтоб в воздухе, в бою действовали без отказа.

В короткие промежутки между вылетами только и можно было отдохнуть. Валились на траву за кромкой летного поля, сил хватало лишь на то, чтобы скрутить самокрутку. Однажды, отправив в воздух свои машины, лежали вот так, в кустах, махоркой дымили. Леха Лунев громко-хрипатым голосом травил про какого-то керю Сеню, который у них на Лиговке был главный хулиган.

– Заходим в аптеку, керя Сеня стал, рука в бок, и поверх очереди пускает: «Гондоны есть?» Аптекарьша, старушка из этих, знаешь, коза в очках, говорит: «Как вам не стыдно, молодой человек? Вы подойдите и тихо спросите, на ухо». А керя Сеня рубит: «Да мне не на ухо, мне на ...»

Посмеивались технари. А непосредственный начальник Сергея старший техник звена Жестев, обстоятельный человек с крупным лицом, поросшим многодневной щетиной (бриться мало кто успевал в Беззаботном), сказал:

– Правильно аптекарьша твоего керю устыдила.

– А чего, Василий Степаныч? Мы ж ее не трогали. Так только. Словесно.

– Словесно! У нас тоже был такой, словесник. Что ни слово, то мат. Как коллективизация началась, он пошел в начальники.

У Жестева говорок был псковский, вместо «ч» выговаривал «ц»: «нацальник». Он любил рассказывать, что его предки при Николае Первом жили в военном поселении.

– Ну и что ваш начальник? – спросил Лунев.

– В проруби его утопили. На реке Великой.

– Кулачье! – сердито сказал Сергей. – Поймали их?

Жестев глянул на него, аккуратно потушил окурок об землю.

– Вроде поймали... Я-то ведь как ушел с колхоза в тридцать третьем, так и служу в сталинской авиации. Так что не знаю точно. – И повторил: – Само собой, поймали. Куда уйдешь?

– Если б их, гадов, не переловили, они бы теперь нам в спину стреляли.

Жестев приподнялся, прислушался:

– Ага, идут.

– Точно, идут. – Теперь и Сергей услышал нарастающий гул.

– Идут, да не наши, – сказал Жестев. – Подъем!

До сего дня налетов на Беззаботное не было. Только видели однажды, как прошла девятка «юнкерсов» в сторону Ленинграда, да раза два над аэродромом появлялась «рама» – высматривала, как видно. А тут...

С жутким воем понеслись, один за другим, пикирующие Ю-87. Нарастающий свист... душа в пятки... бежать бы, да куда... остолбенело, тупо глядел Сергей на черные фонтаны выброшенной взрывами земли... Вдруг увидел: сквозь вскидывающиеся столбы земли и дыма, сквозь вой и грохот идут три женщины – все в длинных черных платьях, в накидках на головах, и каждая несет – кто в руках, а кто на голове – глиняный кувшин. Идут не быстро, словно не замечая бомбежки, и лица у них полны печали, глаза полузакрыты...

– Беспалов! – услышал Сергей. – Жизнь надоела, твою мать? Быстро в щель!

Он метнулся в кусты, упал, сбитый с ног ударной теплой волной. Пополз, провалился в щель. Земля содрогалась, осыпались тесные стенки полутораметровой щели...

Страх, пережитый при этой бомбежке, остался у Сергея надолго. Много было потом бомбежек и обстрелов, и он вроде бы привык, нет, привыкнуть нельзя, но как-то научился владеть собой, – но ужас той, первой бомбежки в Беззаботном возвращался кошмарами в снах. Снились три женщины-привидения, бредущие под бомбежкой. Они пугали его: кто такие, куда идут? И почему у них такие – как бы окаменевшие – лица?..

Полк нес потери. У Сергея в звене не вернулась из боевого вылета одна машина, и никаких вестей, погиб, наверное, весь экипаж с командиром – молодым лихим лейтенантом. И у

Лунева в звене сбили один из трех самолетов, но спустя неделю его бортмеханик, израненный, обожженный, опираясь на палку, приковывался на аэродром.

А 4 августа две эскадрильи во главе с командиром авиаполка полковником Преображенским покинули Беззаботное. В бомболюке одной из машин сидел, скорчившись, Сергей. Летели долго, три часа с лишним. Сергей заоченел, ноги сводило судорогой. Хоть бы знал, куда летел, – может, было бы полегче. Но ничего он не знал, кроме того, что есть приказ о перебазировании.

Даже самые дальние перелеты кончаются. Но, ступив на грунт аэродрома, где приземлились эскадрильи, Сергей не сразу выпрямился. Лунев, прилетевший раньше, как увидел его, так сразу в смех: «Эй, корешок, чего раком встал?» И принялся Сергею поясницу растирать и колотить по ней кулаками, пока не отпустила судорога.

Новый аэродром был грунтовый, не очень подходящий для тяжелых бомбардировщиков. А вокруг – поля, кустарники, тут и там белые домики. Дальше темнел лес. Ветрено было. По просторному небу плыли, громоздясь и перестраиваясь, облака. Называлось это место – Кагул. И находилось оно примерно в середине Эзеля, самого большого из островов Моонзундского архипелага. Вот куда залетели.

Ночевали в палатках. А наутро был созван митинг, и командир полка объявил летному и техсоставу боевую задачу, самим товарищем Сталиным поставленную: бомбить Берлин.

Берлин! Вот это да-а, братцы! Сколько, сколько до Берлина? тысяча восемьсот километров?.. из них тысяча четыреста над морем... и столько же, значит, обратно... ну да, на пределе дальности... «Ставка ожидает, что мы с честью выполним...» Выполним, выполним! Это ж какая задача – Берлин!

Из Кронштадта доставили на тральщиках бомбы и бензин. Летный состав изучал маршрут, велась разведка погоды. Сюда слетелось крупное начальство, сам командующий авиацией ВМФ Жаворонков прибыл, и еще был тут Коккинаки, хорошо знавший самолеты ДБ. На знаменитого летчика-испытателя поглядывали с любопытством. Но вообще-то техсоставу было не до знатных гостей. Вкалывали с небывалым усердием, готовя, снаряжая ДБ к дальнему полету.

Вечером седьмого августа был первый вылет. Бомбардировщики, тринадцать машин, уходили тремя группами. Вот пошел на разбег, мигая красными консольными огнями, головной. Сергей, уронив усталые руки, стоял у кромки поля. Беспокойно было: оторвется ли тяжело груженная бомбами, «под завязку» залитая бензином машина? Облегченно вздохнул, когда на последних, можно сказать, метрах взлетной полосы самолет оторвался от грунта. Ревя, словно от натуги, моторами, все тринадцать машин ушли в темнеющее небо, в ночь, в неизвестность, в немыслимую даль.

Долго не расходились технари по палаткам. Сидели на траве, смолили махру, говорили о том о сем. А главная-то мысль была: каково сейчас им, боевым экипажам, лететь над морем, приближаясь к германскому побережью?

– Там, слышал я, город есть, название вроде свињи, – сказал Жестев. – Свиномун, что ли.

– Свинемюнде, – поправил кто-то.

– Ага. Вот там повернут на Берлин.

– Вот бы в самого Гитлера попасть, – сказал Сергей.

И почему-то вспомнил, как мечталось ему когда-то взлететь над родным Серпуховом и плюнуть сверху на Федьку Кирпичникова. Глупая, конечно, мысль.

Ночное небо заволакивало тучами.

– Дождь будет, – сказал Жестев. – Тут вообще места дождливые.

– А Германия тоже дождливая? – спросил кто-то.

– Пес ее знает.

Прохватывало холодным ветерком. Лунев сказал громко и вовсе некстати:

– Мы на Лиговке в один двор зашли однажды, морду надо было там кой-кому побить. Только завязались, а тут сверху ка-ак плеснут водой из корыта.

– Ну уж, из корыта, – усомнился Сергей.

– Точно, корешок, из корыта. Стирали там, я весь стал от мыла склизкий. – Подымив, Лунев добавил: – У меня мать тоже. Всегда стирка. Нас-то было четверо душ, отец пятый. Она нам кричит: «Обормоты! Кроме Надьки, никто не поможет!»

– Деточки, – сыронизировал кто-то из техников.

Под утро разразилась гроза. В небе прокатывался гром, будто из пушек палили. В брезент палаток хлестала вода, подтекала внутрь, и мокло сено, которое техсостав накопил себе для подстилки. От сена шел приятный дух, но и он не мог перешибить острый запах оружейной смазки.

Тихо подкрался рассвет.

Первым старший техник Жестев чуткими своими ушами уловил дальний гул. Ага, идут! Высыпали из палаток. У Сергея голова была мутная от почти бессонной ночи. Ливень прошел, но влажность висела в сером воздухе. Низкая облачность накрыла Кагул.

А моторы все ближе! Ну, родные, давайте... по приборам идите, не ошибитесь в этих чертовых тучах... Совсем уже рядом самолетный гром... Ах ты, вот один вынырнул, будто выпрыгнул из-под серого одеяла, и пошел разворачиваться на посадку. А на полосе уже машет ему флажками стартер-финишер.

Заходят, заходят ДБ на посадку. Техсостав, само собой, встречает свои машины, вернувшиеся из невозможной дали, шутка ли – из Германии. Обнимаются с черными от усталости летчиками. Ну как? Ну как Берлин? Да что ж, огромный город, полно огней, представляешь, без светомаскировки, вот же обнаглели, ну мы им дали! Влепили от всей души! И как пошли, как пошли в Берлине вырубать свет большими квадратами. И прожектора сразу. И конечно, зенитки. Но ничего. Все бомбы положили. И обратно.

Вот только одна машина... кто, кто?.. Дашковский... Ах, бедняга, не дотянул до аэродрома... горючее, что ли, все вышло... врезался на подлете в лес... Уже помчалась туда санитарная машина...

А через день, 10 августа, на Кагул налетели «юнкеры»: немцы не дураки, вычислили, откуда, с какого аэродрома можно долететь до Берлина. Зенитчики работали исправно, и все самолеты были, само собой, рассредоточены и замаскированы, но все же осколками повредило несколько машин, и было изрыто воронками летное поле. Но в ту же ночь группа ДБ опять бомбила Берлин. На этот раз столица Гитлера утопала во мраке, и ПВО не дремала – на всем пути от Свинемюнде до Берлина и обратно металась прожекторные лучи и рвались зенитные снаряды. Тем не менее бомбы на Берлин были сброшены, и все машины вернулись, дотянули до Кагула. А уж там усердные руки техников, оружейников, мотористов привели в порядок матчасть, подвесили бомбы – и в ночь на двенадцатое снова ушли бомбардировщики в темное, клубящееся тучами небо над штормовым морем, набирая высоту до потолка своего – до восьми тысяч метров.

И так – весь август. Почти ежедневно немецкие налеты. Отлежавшись в щелях, полуоглохшие технари бежали к самолетным стоянкам – уцелели ли машины, много ли поврежденных? Изнурительно работали весь август. Но – было ради чего вкалывать.

Несколько последних налетов произвели совместно с армейскими дальними бомбардировщиками. Всего было девять налетов на Берлин. Девять знаменитых налетов. Больше трехсот авиабомб – тридцать шесть тонн металла и взрывчатки было сброшено, как писали тогда газеты, на логово фашистского зверя; вызывая пожары и загоняя надменных нацистских правителей в бомбоубежища.

Но конечно, эффект был скорее психологический, чем собственно военный.

Последний налет состоялся четвертого сентября. А шестого большая группа «юнкеров» бомбила Кагул с яростью, в которой угадывался гнев высокого немецкого начальства, может, и самого Гитлера.

В самом начале бомбежки Сергея, бежавшего к щели (их много было открыто вдоль аэродромной кромки, но почему-то всегда прихватывало вдали от них), настиг осколок бомбы. Сергей упал, схватившись за голову над левым ухом, сквозь пальцы текла кровь. Дополз до щели, рухнул на ее мокрое от дождей дно...

(И ведь смотрите, какая странность, прямо-таки роковая закономерность в том, как жизнь была Беспаловых: сперва брату Васе череп раскроили, потом Сергея чуть не уложили наповал ударом кастета по голове, теперь вот – опять по черепу...)

Он лежал без сознания, когда Жестев после бомбежки обнаружил его в щели. Очнулся Сергей в санчасти. Беленые стены, крыша над головой. А голова обвязана бинтами, и болит, и словно забита каменной тяжестью. Еще осознал он, что лежит на плащ-палатке, расстеленной на сене, лежит в своем комбинезоне, запачканном землей и черными пятнами крови. Лежали тут, как он понял, еще трое или четверо, а один, с черными усиками, сидел, обхватив руками угловатое колено. Сергей узнал в нем старшего сержанта Писаренко, стрелка-радиста с одного из разбитых самолетов. Слышал Сергей плохо, уши были заложены. Когда Лунев пришел его проведать, не все доходило из того, что Алеха рассказывал. Дошло только, что бомбежка была жуткая, шесть машин разбило, и людей побило, и летное поле перепахало, теперь все, кто живы, носят землю на носилках, засыпают воронки, потому что, говорят, решили сымать оставшиеся ДБ с Эзеля к такой-то матери, а он, Алеха, на минутку вот забежал в перекур...

– Ты чего сказал? – переспросил Сергей. – Улетаем с Эзеля?

– Ходит такой слух. Ну давай, корешок. Выруливай.

С этим «выруливай» и вышел Лунев из санчасти. И напрочь исчез из Сергеевой жизни.

Ранним утром пришли командир полка с комиссаром. Обстановка, сказали, сложилась трудная, есть приказ авиагруппе покинуть Эзель, но машин осталось мало, весь техсостав забрать не удастся... Сергей слушал напряженно – и уже понял, понял... При первой возможности, продолжал комиссар, будет прислан самолет, вывезем оставшихся... Противник начал десантную операцию, но отбит... Эзель сдан не будет... Так что – выше, товарищи, боевой дух!

Двух тяжелораненых унесли на носилках, для них нашли место в самолете. А легкораненные остались: старший сержант Писаренко и трое технарей, в их числе Сергей. Перед тем как их увезли в санитарной машине в расположение ближайшего стрелкового полка, зашел проститься с ними Жестев.

– Как, Беспалов, голова? – спросил, сочувственно моргая рыжими ресницами. – Ну ничего, заживет. (У него получалось: «ницево».) Доктор говорил, касательное ранение.

– Да, – прохрипел Сергей. – Внутри не попало.

– Во, молодец, – одобрил Жестев. – Раз шуткуешь, значит, порядок.

Глава шестая

Баку. Ноябрь 1989 года

Надо Олежке суп сварить.

Выхожу в кухню, начинаю мыть и резать овощи.

– Ой, Юля-ханум! – Это соседка, внучка покойного дяди Алекпера, служащего банка. В ярком сине-красном халатике и сама яркая, хорошенькая, с подведенными карими глазками, она вбегает в кухню. Она всегда торопится, всегда бежит. – Здрасьте, Юля-ханум, – сыплет скороговоркой, – что-то вас давно не видно.

– Здравствуй, Зулечка. Я позавчера тут была.

– Да? А я не видела. – Зулейха ставит на газ огромный чайник. У них целый день пьют чай. – Ой, у меня такое расписание неудобное, прямо не знаю. У вас новый костюм, да?

– Какой новый? Двадцать лет в нем хожу.

– Да-а? Ой, Юля-ханум, что мне рассказали! Приятельница позвонила, говорит, они совсем с ума сошли, голые пришли на митинг!

– Кто? На какой митинг?

– Армяне в Степанакерте!

– А почему голые?

– Хотели все голые прийти, а потом решили, пусть только дети голые. А женщины в нижнем белье.

– Да зачем им это?

– Ну не знаю, Юля-ханум. Чтоб в Москве о них не забывали, да-а?

– Зулечка, это, наверное, глупая выдумка.

– Почему выдумка? Люди зря говорить не будут.

– Ты спроси у своего Гамида. Он, наверное, в курсе событий.

– Ой, Гами-ид! – Зулейха высоко поднимает черные полумесяцы бровей. – Вы Гамида не знаете, Юля-ханум? Гамид молчит и молчит, да-а?

Это верно. Ее молодой муж, года три назад окончивший юрфак университета, недавно получил должность в республиканской прокуратуре – и заметно напустил на себя важность. Зато Зулейха компенсирует молчаливость супруга неистощимой говорливостью. Она минувшим летом закончила пединститут и стала преподавать в младших классах. По правде, я плохо представляю эту легкомысленную болтушку в роли учительницы. Ну да что говорить. Времена меняются, и школа меняется, а значит, и учителя. Вот только, когда Олежка подрастет, я бы не хотела – при всем моем добром расположении к Зулейхе, – чтобы она стала его первой учительницей.

Господи, думаю я, нарезаю морковь кружками, господи, когда Олежка подрастет – в какую он пойдет школу? и где эта школа будет?

Ну вот, уже сердце ноет...

А Зулейха несется дальше – про Галустяна рассказывает, нефтяника, который живет в квартире напротив. К нему, Галустяну, кто-то все время звонит, голоса разные, а требуют одно: уезжай, убирайся, не то плохо будет.

– А вчера пришли какие-то пять человек. Угрожали! Это еразы, они ходят по домам, где армяне живут.

– Что за еразы? – спрашиваю.

– Ну эти, которые из Армении. Ереванские азербайджанцы, да-а? Их армяне выгнали, а тут им жилье не дают, вот они ходят по домам...

Что-то у меня в груди сегодня покалывает.

– Прости, Зуля, мне надо принять лекарство.

– Ой, конечно, Юля-ханум! – Она провожает меня до двери, продолжая тараторить: – Галустяны уедут, а они возьмут займут квартиру, да-а? У них хорошая квартира, отдельная. А мы в тесноте живем. Разве справедливо?

Кладу под язык таблетку валидола. Если не уймется боль, тогда – нитроглицерин. В восьмидесятом я перенесла инфаркт, не большой, микро, но все же инфаркт. Теперь без таблеток из дому не выхожу. Мне никак нельзя помирать, пока Олежка не подрастет.

– Баба! – Ему уже надоело рисовать, он крутится возле меня, а я сижу в кресле, старом штайнеровском кресле с подушечкой для головы. – Баба, – ноет Олежка, – ракази сказку!

– Какую сказку рассказать?

– Как дедушка Билин бабил! – выпаливает он.

– Во-первых, это не сказка, Олежек. А во-вторых, дедушка не бомбил Берлин, а только готовил самолеты для бомбежки.

– Ракази, ракази!

– Ладно. – Боль отпустила меня, можно продолжать функционировать. – Расскажу. Только сперва поставлю суп вариться. Ты порисуй пока.

День сегодня пасмурный, в кухне, где когда-то царила моя громкоголосая мама, темно-вато. Зажигаю свет. Заканчиваю возню с овощами, ставлю кастрюлю на газ.

Тут хлопает наружная дверь. Выглядываю в переднюю. Павлик пришел.

– Ты с работы? Почему так рано?

– Здравсьте, Юлия Генриховна. – Павлик вешает пальто и, задрав бороду, разматывает с шеи длинный шарф. – Я был на объекте, потом попутная машина подвезла.

Мы входим в комнату. Олежка бросается к отцу. Павлик чмокает его в щечку и, присев за Олежкин столик, начинает вникать в созданные сегодня произведения нашего мариниста. У молодых отцов далеко не всегда находятся терпение и время для ребенка – а у Павлика находятся, он хороший отец. Если б он не был суховат к нам с Сергеем, я бы вовсе не имела к зятю претензий. Непьющий, тихий, семьянин отменный – чего ж еще?

Он, подняв голову под моим «размышляющим» взглядом» смотрит на меня.

– Что-нибудь случилось, Юлия Генриховна?

– Нет. Ты пообедаешь с нами?

– Ну, если до двух. В три мне надо на работе появиться.

– Суп сварится, и сядем обедать. Котлеты только разогреть. Павлик, мне Нина сказала, что ты послал документы.

– Не документы, а данные о нас. – И после небольшой паузы: – Да, мы решили уехать.

– Па-а, – тербит его Олежка, – что мне нарисовать?

– Нарисуй вот здесь мостик, а на нем капитана. С подозрной трубой.

– Все-таки надо было посоветоваться с нами, – говорю.

– Юлия Генриховна, что тут советовать, когда сто раз уже говорено. Мы же знаем, что вы с Сергеем Егорычем против отъезда.

– Сергей Егорович просто не выдержит.

– Мне очень жаль, поверьте. – Павлик округляет глаза, полные, я бы сказала, иудейской грусти. Он сидит в своем голубом, словно размытом джинсовом костюме, в варенке, или как там их называют, свесив широкую, как у Маркса, черную бороду над Олежкиными рисунками. – Очень, очень жаль. Но мы вынуждены думать о своей жизни. В Баку стало невозможно жить.

– Па-а, как рисовать позорную трубу?

– Не позорную, а подозрную. – Павлик пририсовывает к руке капитана трубу. – Юлия Генриховна, творится что-то страшное. Вчера к нам в институт заявились из Народного фронта человек семь-восемь, прошли по всем комнатам, приглядывались к лицам, заговаривали, а тем, кто не понимает по-азербайджански, бросали оскорбления...

- Откуда ты знаешь?
- Ну я-то понимаю. Директор вышел к ним, они потребовали, чтобы уволил армян. Всех до одного. И срок дали – неделю.
- Да какое они имеют право? Что за дикость?
- Вот именно. Дикари захватывают власть. Поэтому надо уезжать.
- Мне говорили, в Народном фронте писатели, ученые...
- Писатели пишут или выступают на митингах. А эти... эти действуют.
- Вспоминаю давешних черноусых юнцов в скверике. Да уж... не приведи Господь...
- Па-а, что еще нарисовать?
- Нарисуй дом. Юлия Генриховна, мы должны думать не только о себе, а прежде всего об Олежке...
- Па-а! Покази, как рисовать дом!
- Вот так. – Павлик уверенной рукой делает быстрый набросок дома с башенками по углам. – Мы должны предвидеть, к чему идет.
- Может, обойдется.
- Не похоже, что обойдется. – Павлик смотрит на меня, тербит большим пальцем бороду. – Юлия Генриховна, – понижает он голос. – Мы с Ниной говорили, а вам все не решаемся сказать... Почему бы вам с Сергеем Егорычем тоже не уехать?
- Да ты что? – Я, признаться, ошеломлена. – Как это мы уедем?
- Очень просто. Вы немка...
- Я русская. Калмыкова.
- Вы Калмыкова по отчиму. А по отцу – Штайнер. В архиве, наверное, сохранились ваши метрики, это ведь легко установить – ваше немецкое происхождение. А ФРГ принимает советских немцев.
- Павлик, – говорю холодно. – Ты забываешься. Ты просто не смеешь делать нам с Сергеем Егоровичем такое предложение.
- Вы правы. – Грусть иудейская сгущается в его темно-коричневых глазах. – Вы правы. Извините.

Глава седьмая Балтика. 1941 год

Те дни на Эзеле, а потом на Даго – были как страшный сон, в котором ты ищешь и не находишь спасения.

Четырнадцатого сентября противник высадил десант на острове Муху, несколько дней там гремел бой, семнадцатого немцы сломили сопротивление и, захватив дамбу, соединяющую этот остров с Эзелем, ворвались на Эзель. 46-й стрелковый полк, в санчасти которого оказались раненые Беспалов, Писаренко и еще двое технарей, вступил в дело. Начался долгий, ни днем, ни ночью не утихающий безнадежный бой. В санчасть притаскивали истерзанные тела бойцов, пахло кровью и порохом, предсмертные стоны и хрипы врываются в сознание Сергея, затуманенное контузией.

Под жестким натиском превосходящих сил противника редющий полк отступал, цепляясь за холмы, за лесные опушки. Осень оплакивала его гибель затяжными дождями. Рубеж за рубежом – пятась, огрызаясь огнем, не давая себя окружить, батальоны сорок шестого отходили на полуостров Сырве, кошачьим хвостом прилепившийся с юга к пузатому туловищу Эзеля.

Легкораненым пришлось уступить место в санчасти тяжелым, а куда было деваться, только в окопы. Сергея, как оружейника, взял к себе начальник боепитания, капитан с изрытым оспой красным лицом. Тут были не привычные Сергею скорострельные самолетные ШКАСы, а обыкновенные станковые и ручные пулеметы «дегтяри», побитые осколками, засыпанные песком и часто залитые кровью. Сергей разбирал, чинил, клал на оружие смазку – делал свое дело, не требующее напряжения больной головы, а только – навыка натруженных рук. Два раза, в минуты затишья, его навещал в наспех открытой землянке старший сержант Писаренко. Он прихрамывал, опирался на палку. Смолили махру, обсуждали обстановку, а она, обстановка, была – хуже некуда.

– Слух такой, – говорил Писаренко, – что идет к нам из Кронштадта отряд кораблей.

– Подкрепления везут? – с надеждой спрашивал Сергей.

– Подкрепления! – Писаренко насмешливо щурил темные глаза. – Откуда их взять, коли весь флот стянут к Ленинграду? Соображение надо иметь, Беспалов. Идут, чтобы сымасть нас с Эзеля. И которые на Даго. И на Ханко. Чтоб всех, кто расплылся на балтийских просторах, обратно собрать – и под Питер. Главное в текущем моменте – Питер держать. Ты понял?

– Ага. А когда придут корабли?

– А ты сделай запрос командующему флотом.

Сергей потрогал повязку на голове. Голова была полна боли.

– Сволочи! – непонятно кого обругал Писаренко и окутался дымом. – Нехай мне будет лихо, – сказал он, раздавливая сапогом окурки, – а все ж таки я бомбил Берлин.

Корабли что-то не шли из Кронштадта. К началу октября остатки сорок шестого полка, сводный морской батальон и другие сильно поредевшие части истекали кровью на последних рубежах обороны на южной оконечности полуострова Сырве. Дальше уходить было некуда. Их поддерживала огнем 315-я береговая батарея, там героические были комендоры, героический командир капитан Стебель, известный всему Моонзундскому архипелагу, – только эта батарея поддерживала их, но и там уже кончались тяжелые снаряды. Кончался боезапас у стрелков и моряков, державших последний рубеж. И продовольствие кончалось. Кончались бинты.

А корабли не шли.

Ночь на 3 октября застала Сергея и несколько десятков стрелков из выбитого батальона близ поселка Мынту. В поселке что-то горело, мрачные красные отсветы разгорались и гасли на тучах, бесконечно плывущих над Эзелем. «Что же за нами никто не идет? – думал Сергей,

мерзнувший в своем бушлате. Он лежал на дне траншеи с чужой винтовкой, доставшейся после гибели ее владельца. Он был теперь вторым номером в уцелевшем пулеметном расчете. Первый номер спал в двух шагах от него. Станковый пулемет на бруствере остывал от недавнего боя. – Никто не идет нас снимать... А ведь завтра... да уж, наверное, завтра будет мой последний день».

Он задремал и сквозь сон услышал, как кто-то выкликает его фамилию. С трудом разлепил воспаленные веки.

– Беспалов! – И уже удаляющийся голос звал: – Эй, Беспалов! Живой ты чи ни?

Неловко, еще в полусне, вылез Сергей из траншеи и закричал вслед уходящему Писаренко:

– Здесь я! Здесь!

И упал ничком под длинной пулеметной очередью с немецкой стороны. Он полз под роем трассирующих посвистывающих пуль и кричал, чтоб Писаренко обождал его.

Потом они шли по улице поселка, под сапогами скрипело битое стекло. Писаренко снова и снова принимался рассказывать, как в штаб полка позвонили из штаба укрепрайона и велели всем, кто жив из летного и техсостава авиагруппы, срочно прибыть на пристань, вот он, Писаренко, ищет, а двух технарей уже нету – Пихтелева вчера наповал, а Колесник пропал без вести, и мы с тобой, Беспалов, только и остались тут – сталинские соколы.

У пристани, под сполохами пожаров, качались четыре торпедных катера, и сходили на них по сходням люди, большинство в морской форме, но и сухопутные тоже. Командиры тут были, и даже (как узнал впоследствии Сергей) сам командир Островного укрепрайона генерал Елисеев со своим штабом. Черным-черно было от шинелей на узких катерных палубах. Когда Писаренко с Беспаловым, последние в очереди, подступили к сходне, их зычно окликнул командир со свирепым лицом:

– Кто такие? А ну, назад!

Недоверчиво зыркнул по ним узкими глазами, выслушав объяснение Писаренко, что, мол, есть приказ насчет авиаторов, но пропустил.

Корма торпедного катера – не лучшее место для пассажиров, тут два желоба для торпед, в желобах и сидели тесно, скорчившись, люди, уходившие с Эзеля. Когда взрвели моторы и стала уплывать пристань, Сергею подумалось, что вот, корабли не корабли, а катера все же пришли и увозят их в Кронштадт. Только почему так мало, всего-то четыре катера... может, еще придут, чтобы снять всех, кто остался на Сырве?..

Какое-то время виднелось багровое пятно над Мынту, как рана в черном теле ночи. Потом осталась только мгла, наполненная ревом моторов, свистом ветра и протяжными стонами моря.

Море бросало катер с непонятной Сергею злостью. Он и вообще-то впервые в жизни оказался в море – да и сразу в шторм. Страшно ему было, когда волной захлестывало, ну, слизнет сейчас катер, как жучка, и потащит в эту... как ее... в пучину... А катер мчался с ревом, его подбрасывало и швыряло вниз. Непонятно, почему еще теплилась у Сергея жизнь в мокром ледяном теле.

Потом испуг притупился, и стало все равно, что будет дальше, наступит ли день, или навсегда останутся ночь и ревушая вода...

Сергей очнулся от удара в бок. Тупо посмотрел на черные усы на белом вытянутом лице Писаренко. «Проснись, – прохрипел тот. – Подходим». Была все та же первобытная ночь, и Сергей, шевеля мозгами, сообразил, что до Кронштадта за одну ночь не дойти, – значит, приближающийся черный берег с неясными силуэтами строений никак не мог быть кронштадтским.

Он так и не запомнил, как назывался приморский город на острове Даго, к причалу которого подошел катер. Название было похоже на слово «мясо».

Морской водой разъело под бинтами рану. Голова была наполнена болью и туманом, и выплывал из тумана то странно раздутый, будто накачанный воздухом человек с бритым черепом и спрашивал – «ты почему мне щуку не поймал?», – то беззвучно кричал, раскрывая щелястый рот, бывший тесть – «взяли в семью, голь перекатная!», – то снилось и вовсе непонятное: будто идут-бредут по каменистой местности друг за дружкой несколько женщин в длинных платьях с кувшинами в руках, а лица у них печальные, – то мерещилось будто девичье лицо, незнакомое и доброе... постой, красная девица, не уходи... из какой сказки ты явилась?.. не уплывай!..

Когда туман рассеялся, Сергей обнаружил себя лежащим на койке, на настоящих простынях, под настоящим одеялом, – впервые после окончания ШМАС он не валялся на земле. Справа и слева лежали на койках люди, кто-то зверски храпел, была, наверное, ночь, слабо горела на тумбочке настольная лампа. Он умилился вдруг: настольная лампа! Да где же он, в какую сказку попал?

А утром уже наяву возникла в палате красна девица. Была она маленькая, в белом халатике и белой косынке, из-под которой выбилась белокурая челочка, – и она улыбнулась Сергею и спросила, пальчиком указав на повязку на голове:

– Больно?

Он растянул запекшиеся губы в трудной улыбке, качнул головой: нет, не больно. Потом, когда медсестра сделала ему укол, он спросил, как ее зовут.

– Марта, – сказала маленькая эстоночка и вышла из палаты.

Он зашелся кашлем. Дико и долго кашлял. Лежал, обессиленный, и повторял про себя: Марта, Марта... всплыло вдруг в памяти из далеких дней, из юности в Серпухове, когда он в клубе имени Буденного книжки читал и попалась однажды книжка поэта Багрицкого, там были поразившие его стихи, – и вот одно всплыло в памяти: Марта, Марта, надо ль плакать, если... как же дальше... если Дидель вышел в поле... Марта, Марта, шептал он имя, венчавшее сказку. И почему-то при звуке этого милого имени замирала душа.

Как и положено сказке, скоро она кончилась. Гарнизон острова Даго готовился к отражению немецкого десанта, ждали со дня на день, копали траншеи. И Сергея выписали из санчасти в сводную роту моряков. Тут были в основном люди нестроевые – писаря, хозяйственники с вещевых и прочих складов, парикмахеры и даже случайно застрявший артист из флотского ансамбля. Был тут и Писаренко, поставленный командиром взвода.

Противник высадился на южном берегу Даго на рассвете 12 октября. С того проклятого дождливого утра гремел, почти не утихая, бой. Сводная рота, оказавшаяся на правом фланге инженерного батальона, сколько могла, сдерживала винтовочно-пулеметным огнем немецкую пехоту. Несли потери, отходили к северу острова.

Прошла неделя. Кто остался жив, ночью окопались возле хутора на пологом холме, среди картофельных грядок. Сосновый лес подступал к хутору, вдоль его опушки проходила грунтовая дорога – ее-то и приказано было держать батальону с остатками сводной роты. Писаренко, длинный, в каске, с ППШ на груди (где-то достал, вот же проныра), назначал своему взводу, где окапываться. Сергею с ручным пулеметом велел устроиться в приземистом каменном сарае, который имел оконце, глядевшее как раз на дорогу, – удобная огневая позиция. Сергей и второй номер Федя Хорольский, бывший парикмахер, улыбочивый и ловкий, быстренько высадили из окна застекленную раму, поставили пулемет – и вдруг увидели выросшую перед стволом «дегтяря» фигуру. Хутор был вообще-то безлюден, местные люди обычно прятались или уходили из зоны боя, а тут – нате вам, вылез откуда-то старикан угрюмый в картузе.

– Папаша, – сказал Сергей, – ты уходи отсюда. Тут с утра жарко будет. Понимаешь?

Старик пробормотал что-то по-эстонски. Федя протянул ему кисет с махоркой, но тот ударил рукой по кисету и, сутулясь, поплелся к жилому дому.

– Вот же старый гриб, – сказал Федя. Притащил охапку сена, улегся. – Давай отдыхать, сержант. – И сразу захрапел, он засыпал мгновенно. Но вдруг оборвал храп и то ли во сне, то ли наяву произнес: – А хуторок-то какой ладный, вот бы тут пожить... – Выматерился и вновь захрапел.

А на рассвете вынырнули из леса и помчались по дороге мотоциклисты, немецкая разведка – их отбросили огнем. И вскоре началось...

Одну атаку отбили, вторую, третью... Потом Сергей потерял счет. По сараю стали бить из пушки, пришлось переменить позицию. Пулемет раскалялся от работы, диски кончались, Хорольский бегал под огнем в тыл батальона, подносил новые диски, была в середине дня передышка. Ударила по лесочку, где накапливались для очередной атаки немцы, береговая батарея с северной оконечности острова – ее корректировщики появились тут, направляли огонь. Батарея, было слышно, клала увесисто. Иные осколки и до своих окопов долетали. Но ничего. Даже пообедали Сергей с Хорольским – сухарями и банкой бычков в томате. Оба были на чертей похожи – кирпичная пыль, тротиловая гарь покрывала их лица и руки.

Потом опять немцы пошли на прорыв. До броска гранат приближались. Федю Хорольского убило осколком гранаты, когда он очередной раз подносил диски. Из пролома в стене сарая Сергей бил по перебегающим темно-зеленым фигурам, дым стелился над окопами, сквозь гром оружия слышались немецкие выкрики и наш ожесточенный мат. Какие-то бойцы, выбитые из своих траншей, полезли в сарай, раненых притащили, забились в угол возле Сергеевой позиции.

– Почему огонь не ведете? – зло крикнул им Сергей.

– А ты дай патроны, будем вести, – ответил хриловатый бас, показавшийся знакомым.

Быстро темнело, бой затихал, обе стороны выдохлись, пала тишина – аж в ушах зазвенело. В сарай заглянул Писаренко:

– Беспалов! Живой ты чи ни?

– Живой пока, – отозвался Сергей. – Надо Хорольского похоронить. Убило его.

– Если б только его. Хорошо, если дюжина от взвода осталась. А эти кто? – Писаренко всмотрелся в темные фигуры в углу сарая. – Из инженерного? Ну-к, берите лопатки, хоронить будем.

– Тут заступ есть, – сказал кто-то из угла.

За сараем, с невидимой немцам стороны, стали копать яму. Молча работали, молча снесли убитых, положили в эстонскую землю, холмик над могилой набросали.

К Сергею подошел невысокий боец.

– Ты, что ли, Беспалов? – спросил хриловатым басом.

– Я.

– Серега?

Сергей всмотрелся в красноармейца. Тут как раз немецкая ракета взлетела, и он увидел худое, обросшее давно не бритым желтым волосом лицо, увидел голубые глаза, вроде бы и знакомые, но подчеркнутые мрачноватой тенью. Мятая пилотка была натянута на слишком крупную для нее голову. Из-под грязной шинели как-то сиротливо торчали тонкие ноги в обмотках и заляпанных глинистой землей башмаках.

– Марлен, – тихо сказал Сергей. – Ты как сюда попал?

Ракета догорела, и сразу сгустилась тьмущая тьма.

– А ты? – сказал Марлен Глухов, боец инженерного батальона.

Они вошли в сарай и там улеглись у пролома в стене рядом с ручным пулеметом, уставившись в бесприютную моонзундскую ночь.

– Тебя что, в голову ранило? – спросил Марлен.

– Да, задело. На Эзеле еще.

– А, ты оттуда. Курево есть? А то моя махорка кончилась.

Они свернули самокрутки и закурили, держа огоньки в кулаках.

– Слыхал? Наше начальство-то сбежало.

– Как сбежало?

– А так! За Елисеевым, говорят, самолет прислали, он со штабными сел и улетел. Бросил нас подыхать тут.

– Не может быть. Мало ли что болтают.

– Очень даже может быть, – зло сказал Марлен. – Командиры долбаные! До чего довели...

Ладно. Ты как на островах очутился?

Молча, попыхивая сигаркой, выслушал краткий рассказ Сергея.

– Так это вы Берлин бомбили? Это дело! А что ж тебя на Эзеле оставили?

– Мест не хватило на самолетах.

– Мест не хватило! – передразнил Марлен. – Ты ж сын попа, вот и не хватило.

– Брось! – сердито сказал Сергей. – Это теперь не имеет значения. Не я один остался, наш комвзвода Писаренко тоже.

– Ясно, ясно. У тебя начальство хорошее. Только вот мест не хватает. На Эзеле-то много осталось брошенных?

Сергей не ответил. Что-то он не узнавал старого друга, прежде такого веселого, *своего в доску*.

– А помнишь, – сказал, чтобы перевести разговор на другой лад, – как мы с тобой французской борьбой...

– Не помню, – отрезал Марлен.

– Слушай... чего ты злишься? Я ж не виноват, что ты...

– Да, – со вздохом сказал Марлен. – Ты не виноват, конечно. Хочешь знать, как я тут очутился? Длинная история.

– Не хочешь, не рассказывай.

– Можно и рассказать. Все равно не усну. – В проломе просветлело от очередной немецкой ракеты. Марлен лежал на спине, закинув руки за голову и закрыв глаза. – Давай вопросы.

– Ты куда из Воронежа уехал? Я спрашивал тогда, никто...

– Никто и не должен был знать. А то бы отправили меня... куда-нибудь подальше... В Баку я уехал. Там у меня тетка, сестра матери, вот я к ней нагрюнул. Ее муж нефтяник, мастер по подземному ремонту скважин, он и взял меня рабочим на нефтепромысел. Так я, значит, и спасся. Забыть-то про меня, конечно, не забыли, но и не искали.

– А как ты на Даго попал?

– В тридцать девятом по указу призвали в армию. Просился в авиацию – нельзя. Я ж меченый. Определили в зенитную артиллерию, и с ходу нашу батарею – в Западную Белоруссию, освобождать братьев-белорусов. Мы в Молодечно стояли. Осень прошла, а зимой взяли меня за шкуру и ка-ак тряханули!

– Что это значит? – спросил Сергей. Ему холодно было в бушлате, подбитом одним только флотским форсом. Он лежал на боку, подтянув колени к подбородку.

– А то и значит, что я влюбился, – со странным вызовом сказал Марлен. – А что, нельзя?

– Почему нельзя...

– Вот и я спрашивал: почему нельзя? А наш политрук-дурак кричал: нельзя в польку! Она полька была, Марыся. Такая, знаешь, тоненькая, семнадцать лет... У ней отец был поляк, железнодорожник, а мама белоруска, на почте работала рядом с нашей частью. Там я с Марысей и познакомился, на почте. Мы с ней разговаривали на трех языках – на смеси из русского, польского и белорусского. Смеху! Но всё понимали! Она про нашу жизнь спрашивала, а я ей излагал, как хорошо жили... Марысин папа, когда она меня в гости позвала, тоже спрашивал, что да как, я и ему – только по-хорошему, у нас, мол, нету панов, по справедливости все. А иначе – как еще объяснить, почему мы к ним пришли? Освободители же... Между прочим, я

тогда не чучелом огородным смотрелся, как сейчас. Идешь в увольнение – шинель подогнана, сапоги блестят, шапка набекрень, как у Чапаева... А у Марыси вот такие глаза... синие...

Сергей слушал хриплый, прерывистый этот рассказ, и всплыла вдруг в холодный, пороховой гарью пропахший сарай белая воздушная фигурка с белобрысой челочкой. Марта, Марта, надо ль плакать, вспомнилось опять. Надо ль плакать, если Дидель вышел в поле...

– ...Я говорю: почему нельзя? – продолжал Марлен. – Я же пропагандирую местное население в нашу пользу. Он орет: нельзя, и все тут! Всюду ему, олуху, шпионы мерещились. Ну, я уперся. А он меня – на губу. А я – рапорт по начальству. Тут, конечно, они взяли меня в оборот. Хорошо еще, что не под трибунал. Списали в инженерный батальон, в землекопы. Батальон как раз перебрасывали из Западной Белоруссии в Эстонию. Даже и не повидался с Марысей, не попрощался... Дай еще махорки, Серега... Ну вот, – выдохнул он облако дыма. – Знаешь такой город – Палдиски? Там мы копали, копали, как кроты, воздвигали батарею...

– Воздвигали, – повторил Сергей. – Кроты... Что это ты – вроде с насмешкой?

– Чего? – вскинулся Марлен. – Ты пойдешь, товарищ сержант, к особисту нашему, если он еще не драпанул! Доложи ему!

– Не ори. Тут бойцы отдыхают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.